

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ
И КУЛЬТУРЫ

III

ПРАГА

1928

VOLIA ROSSII — REVUE MENSUELLE

От администрации „Воли России“

В КОНТОРУ «ВОЛИ РОССИИ» ПОСТУПИЛ РЯД ПРОСЬБ О Понижении ЦЕНЫ НА ЖУРНАЛ. СТРЕМЯСЬ СДЕЛАТЬ «ВОЛЮ РОССИИ» ДОСТУПНЫМ ШИРОКИМ КРУГАМ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОНТОРА ЖУРНАЛА НАСТОЯЩИМ ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА «ВОЛИ РОССИИ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В 40 АМЕРИКАНСКИХ ЦЕНТОВ ЗА НОМЕР И 75 АМЕРИКАНСКИХ ЦЕНТОВ ЗА ДВОЙНОЙ НОМЕР.

ВВИДУ Понижения ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ, РЕДАКЦИЯ ПРИНУЖДЕНА НЕСКОЛЬКО УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ КАЖДОГО ВЫПУСКА, ПРИ ЧЕМ КОМБИНИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ШРИФТОВ ПОЗВОЛИТ ДАВАТЬ ПРЕЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА.

В 1928 г. ЖУРНАЛ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ, ТОЧНО УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Адрес редакции и конторы:
«VOLJA ROSSII», Uleňny tít 11 - PRAGUE,
Tchécoslovaquie.

Отделение в Париже:
32, rue de Ménilmontant, 32. Paris (20).
Téléphone: Ménilmontant 67-41.

ВОЛЯ РОССИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. И. ЛЕБЕДЕВА,
М. Л. СЛОНИМА,
Е. А. СТАЛИНСКОГО,
В. В. СУХОМЛИНА**

7-ой ГОД ИЗДАНИЯ

**III
МАРТ**

ПРАГА

1 9 2 8

СО Д Е Р Ж А Н И Е :

Василий Федоров. Финтифлюшки. Повесть.	3
Марина Цветаева. Попытка комнаты. Поэма.	32
Л. Н. Толстой. Чингиз-Хан с телеграфом. Неизданная статья.	40
Владислав Иванов. 2-ое января. Стихотворение.	49
Е. Кускова. Месяц «соглашательства».	50
В. В. Сухомлин. О революции, реакции и метаистории.	70
Глеб Гонцов. Снова по родной земле.	82

С л а в я н с к и й о б з о р

Проф. Крофта. О гуситстве. (Окончание).	92
--	----

С о ц и а л и з м и р а б о ч е е д в и ж е н и е .

В. Р. В Социалистическом Интернационале.	104
Луи Де Брукер. Об'единение социалистов в Чехословакии.	111
Заявления и решения с'езда с.-д. партии Чехословакии. ...	114

С р е д и к н и г и ж у р н а л о в .

М. Сл. Обзор журналов («Новый Мир» ном. 2. — «Новый Леф» ном. 2).	118
---	-----

О т з ы в ы о к н и г а х

А. Леонидов. Н. Тихонов. «Красные на Араксе».	123
Б. С. А. Веселый. «Дикое Поле».	124
М. Сл. А. Панаева. «Семейство Тальниковых».	126
В. В. Э. Бенеш. «Мировая война и наша революция».	127

ФИНТИФЛЮШКИ

(ПОВЕСТЬ)

1.

Скажу прямо — человек я аккуратный. Аккуратность я, можно сказать, всосал с молоком матери. И хоть фамилия моя чисто русская — Кукурекков, однако, еще в школе получил я прозвище «немец», за аккуратность свою и благочиние. Надо сказать правду — маменька наша, Пелагея Осиповна, пуще всего блюла порядок. Бывало увидит в хлебе или в бублике запеченого таракана — вся затрясется, побледнеет, слова не может вымолвить. И уж такая чистеха была — на редкость.

«Разуйся, Сеня, разуйся!» — кричала она папаше, когда он приходил со службы в пыльных штиблетах. «Нет моих сил убирать за вами»...

Делать нечего. Смирный был человек папаша — тут же без лишних слов стягивал с ног штиблеты и, уже босиком, шел в комнату.

«Ишь, отрастил ногти! — ворчала маменька. Горе мне с вами. Чиновник... благородный... А ногти, как у нечистой силы».

Смутился папаша. Тихий он был человек — мягкий. Может быть по случаю раны был он такой спокойный. А рану ему учинил драгунский офицер Рислинг. Шашкой рубнул он по голове папашу — озорства ради и по причине увеселения знакомой девицы. Собственно, дело было так: папаша шел на службу в Казенную Палату, Рислинг же, этот самый драгун, провожал под ручку барышню Лебединскую. В тот год началась как раз русско-японская война и офицеры повсюду были в большом изобилии. Увидел Рислинг папашу, остановил на улице и говорит:

«Ты это, говорят, почему мне не козыряешь? Кокарду наципил, а воинской дисциплины исполнять не хочешь?».

Известное дело — выпивши был офицер Рислинг.

«Я, говорит, могу тебя казнить».

Засмеялась тут барышня Лебединская. В этот самый момент и ударил Рислинг папашу шашкой. Долго потом хворал папаша — месяца три пролежал в постели. А когда поднялся и пошел на службу, чиновники стали над ним смеяться:

«Проклеванная ты человек, Семен Ефремыч! Конченный, говорят, ты человек — порченный».

Сказать правду, изумительно и поразительно переменялся с той поры папаша. Раньше как-то и веселей был и в карты любил поиграть и побалагурить. А то вдруг совсем размяк, насупился, редко когда слово какое скажет. Да и скажет это самое слово — сердце воротит: от жалости. Подойдет этак ко мне вечером:

«Что, обучаешься Елпидифор?».

«Обучаюсь, папаша. Естественную историю готовлю».

«Обучайся, говорит. Узнавай».

Перевернет страницу, посмотрит картинку.

«Вот, — говорит. Инфузории... Морская фауна... А я всю жизнь может дал бы, чтоб увидеть эту морскую фауну... Только и слышишь от людей — есть мол на свете прекрасный вид на море. А какой это вид на море? Какая такая фауна?.. Куда там нашему брату чиновнику увидеть вид на море!».

И так это жалостно скажет, с такой горестью...

Сам бы заплакал, на него глядя. А тут еще случилось со мной в скором времени происшествие. Выгнали меня из городского училища. Собственно, из-за аккуратности своей пострадал я, к тому же совсем невинно. Было мне в то время годков четырнадцать...

Иду я как-то домой из школы — вижу мадам остановилась на тротуарчике, читает афишку. Глянул я на нее сзади и поразился. Неужто, думаю, ничего не замечает? Нет, стоит себе спокойно, зонтик в ручке переворачивает как ни в чем не бывало. Оробел я немножко спервоначалу, однако, подумал и подошел.

«Мадам, говорю. Обратите ваше внимание»...

Оглянулась она, глаза прищурила. На носу у нее очки золотые блестят. Страшно мне стало от важности ее и красоты.

«У вас, говорю, мадам, неаккуратность. Панталончики, говорю, малость упали. Видать тесемка ослабла».

Качнулась она в сторону.

«Что?» — кричит.

Оробел я совсем.

«Штанишки, говорю, у вас, мадам, изволили опуститься. Неаккуратность из-под юбки видна».

Ударил она меня зонтиком по шее.

«Ах ты нахал! — кричит. Ах ты мерзавец! Я, говорит, тебе покажу, молокосос!».

Собралась, конечно, публика моментально. Подошел городской. Дамочка моя распалилась донельзя. Какой-то старичек подлетел ко мне, потряс в глаза кулаками.

«Это, кричит, безобразие! Эт-то распущенность! А еще ученик — герб на фуражке носит. Разрешите, говорит, мадам, я ему уши с корнями выдерну».

Завизжал я, понятно, от страху, заплакал. На счастье учитель проходил гимназический — Брагин. Заступился он за меня.

«Нет, говорит, члены вредить в своем присутствии не позволю. За члены, говорит, могут и в тюрьму потащить. Лучше уж я сам отведу его куда надо».

Взял меня господин Брагин за ухо (сила у него была большая в пальцах).

«Пойдем, говорит, негодяй, к директору. Подлец, говорит, этакий!»...

Ну и уволили меня понятно из училища. Хотели даже в бумажке написать: «За разврат». Папаша на коленях выпросил, чтоб не срамили. Долго я, помню, не мог потом успокоиться. Главное — науку очень любил. Интерес к ней великий чувствовал. Лучше меня никто не умел обернуть бумагой книжку, или, скажем, очинить карандаш. А уж доску вытру тряпкой — блестит как зеркало... Стал меня папаша обучать на дому канцелярскому делу. Когда бумагу даст переписать, когда на счетах что-нибудь прикинуть... Очень он надеялся определить меня по своей части. Но горе, как говорится, никогда не приходит одно. Уж как сядет это самое горе человеку на шею — качается оно на ней, как на качелях.

Надо было случиться, чтоб у Арины Ивановны Огуречкиной родилась в то время двойня. Собственно не было в том ничего удивительного — неаккуратная была женщина. При живом муже еще с тремя господами амурилась. Однако прибежал Огуречкин к нам в великой радости.

«Сынок и дочка! — кричит. Какое счастье! Не пропали значит, мои труды даром! Приглашаю, говорит, вас, Семен Ефремыч, в качестве крестного отца».

Что-ж делать — согласился папаша. Не в его характере было обижать человека. Хоть и не любил он всяких зрелищ и увеселений в природе.

«Только, говорит папаша, как же я могу быть крестным отцом зараз у двух младенцев различного пола? Как будто не по закону. Да и не в обычае это на нашем земном шаре».

Подумал Огуречкин минуту, почесал в голове.

«Ничего — говорит. Управимся. Вы будете крестным у

дочки, а уж для сына мы еще отца разыщем. Как, говорит, не найдтись отцу? Я вам сколько угодно отцов найду».

На том и порешили. Помню, как сейчас, в день крестин папаша принарядился, почистил пиджачек, манишку нацепил розовую. Даже изволил пошутить, что вот мол будет теперь у него собственная дочка. Вырастет она мол важной барыней, такой, каких на мыле пахучем изображают...

Размечтался папаша... Умилительный был человек — царство ему небесное!

Позже нам уже соседи сказывали, как произошло все это смертельное событие. Что же касается нас с маменькой, то мы были чрезвычайно поражены. Под утро, часика в три, стучат к нам в двери.

«Встань, Елпидифор, погляди, кто там, — сказала маменька. Не может быть, чтоб так рано папаша».

А у меня, надо вам сказать, было уже на душе предчувствие. Не скажу чтоб знал — а так как-то нутром догадывался. И, как открыл дверь — сразу почувствовал. Несут, вижу, папашу на руках чужие люди. Позади городской и околоточный надзиратель — Цибулянский.

«Куда его положить?» — спрашивает Цибулянский.

Глянул я на папашу и обмер. Белее стенки физиономия у папаша, а из носа кровь вытекает на землю.

«Слышь? — говорит Цибулянский. Куда положить бесчувственное тело?».

Выбежала маменька из комнаты, всплеснула руками.

«Сеня! — кричит. Родимый! Что они с тобой сделали?».

«Не прикасайтесь к ним! — кричит Цибулянский. Разве не замечаете в каком они виде?».

А маменька, известно, как все женщины, без всякого внимания к словам посторонних.

«Что они с тобой сделали? — кричит. Кто это тебя зарезал?».

Осерчал тут околоточный Цибулянский.

«Вы, говорит, сударыня, понапрасну выражаетесь. Никто им худого не сделал. А если упали они, извиняюсь за выражение, в клозет, так в этом никто не виновен. Кабы, говорит, не мы — быть бы им утопленником безусловно».

Здесь уж и мы рассмотрели — действительно папаша в обмокшем виде...

С той поры зачах папаша окончательно и бесповоротно. То ли повредил он себе еще больше голову, упавши в гадость, то ли болезнь какая одолела — только стал иногда заговариваться. Иной раз за обедом вдруг заплачет прегорько.

«Все на свете, говорит, входящая и исходящая. Номера меня душат и числа»...

А раз из церкви пришел в расстроенном виде.

«И там, говорит, и в Божьем храме завели. Стою я — молюсь. Вдруг слышу: — иже от отца исходящая... Ровно обухом кто меня по голове ударил».

Смекнули мы с маменькой, что неладное делается с папашей. Вроде того, как бы повреждение мозговых способностей.

«Взял бы ты, Сеня, отпуск, — говорит маменька. — Отдохнул бы малость, поправился».

Замахал папаша руками.

«Какой, говорит, отпуск! В могилке мой отпуск. Будут, говорит, птички петь над моей зеленой могилкой, солнышко будет сиять. Дождик будет поливать мои кости».

Расплакалась, понятно, маменька от таких слов.

«Губишь ты себя, Сеня. Хотѣ меня пожалей, старуху».

Прослезился и я, глядя на эту картину. Однако, успокоились мы постепенно и все пошло по старому. Стал и папаша как будто веселей смотреть на мироздание. Иной раз даже начнет смеяться — и не остановишь.

«Смешно, говорит, мне, как подумаю о смысле жизни».

И как началась к тому времени весна — целый день после службы копался папаша в огороде.

«Вот, говорит... Заведем мы, Еллидифор, собственную капусту. Свинку прикупим... Потому раз огород, стало быть много будет всяческих человеческих отбросов».

«Совершенно верно, говорю, папаше. Без свиньи нам не обойтись».

«А то еще — барана — говорит папаша. Заведем собственного барана. Только непременно с курдюком. Страсть, как хочется мне отведать этот самый курдюк. Еще татарин говорил знакомый: лучше нет деликатеса на свете».

«Безусловно, говорю, папаша. Баран, папаша, в нашем хозяйстве не помешает. Наоборот, говорю, украшение великолепное, вследствие рогов его и прочих конечностей тела».

И так мне радостно стало, что папаша малость развеселился!..

Помню было это вскорости после Христовой пасхи. Солнечные стояли дни и тихие. В садике нашем целый день гудели пчелы. Бывало, станешь под деревом и думаешь... И о чем думаешь — трудно ответить. Иногда такое почудится... Прямо таки слышишь ушами явственно — зовет по имени неведомая красавица. «Еллидифор! Еллидифор!..».

И опять тихо.

«Еллидифор!.. Иди, я тебя поцелую»... .

Оглянешься, вздрогнешь — а это шмель бубнит над ухом. И нет никакой красавицы — только тени танцуют на заборе. Белые стоят деревья в цвету, дух от них пышет медовый. И птица угод, похожая на индейца, кричит на камне — удуд! удуд!..

Очень я любил в то время физические явления в природе!.. Раз вот так стоял я в саду незадолго перед обедом. Маменька вышла из кухни — поставила в тень под вишней молочный кисель.

«Пригляди, говорит, Елпидифор, чтоб кошка не скушала. Постоянно, гадюка, над'ест или запаскудит».

«Хорошо, говорю, маменька. Будьте покойны».

Сел я на камушек приблизительно возле и думаю: «скоро папаша со службы»... Глядь — а папаша уже входит во двор. Только необычно идет, руками размахивает, фуражка на самый нос надвинута. Увидал он меня и остановился.

«Конец, говорит, Елпидифор. Конец нашему раю».

«Как так, папаша?».

«А очень просто. Донесли на меня. Видно, соседи. Что за люди! Что за мерзавцы!».

«Да в чем же дело? — спрашиваю. Расскажите, папаша, подробно».

«Что тут рассказывать — говорит папаша. Прихожу сегодня к столоначальнику с докладом. Зыркнул он на бумагу — перевернул страницу...»

«Вы это что-ж, кричит, опять мне бобы разводите? — «Никак нет, говорю. Главным образом, капусту. Средства, говорю, не позволяют расширить огород».

«Затрясся столоначальник, ударил кулаком по книге».

«А-а! — говорит. Вы еще смеяться? Вон отсюдава сию же минуту! Завтра же подавайте прошение об отставке»... Конец теперь, Елпидифор, нашему райскому блаженству», — закончил папаша.

Признаться, обомлел я от страха, услышав папашины речи. Грусть меня охватила и печаль несказанная.

«Вот тебе, думаю, и свинья! Вот тебе и баран»... А главное папашу стало жаль — Бог уж с ним со свиньями да с баранами... Гляжу и папаша плачет — красненьким платочком глаза вытирает.

«Идем, говорит, Елпидифор, поскорее. Вырвем бобы эти проклятые. Из-за них все несчастье приключилось. Знал бы, говорит, никогда-б не разводил бобов».

И уж здесь, могу сказать откровенно, начались все несчастья для нашего семейного дома. Собственно ушел папаша со службы. Пенсию ему назначили такую, что и воробья не прокормишь. Стала маменька ходить на поденную работу. А то иной раз и дома стирала белье для господ офицеров и студентов. И, как была аккуратная женщина маменька, — тяжелая оказалась эта работа для ее духовных потребностей.

«Вот — жаловалась маменька. Хотя бы студент Чупуренко. Намедни такие исподники притащил, словно бы он в тру-

бочистах состоял или в кочегарах. А уж про дыры и не говорю — назади сплошное отверстие».

Жалко было мне маменьку. Однако и папаша представлял из себя безнадежное состояние. Высох он весь, извиняюсь, как вобла, стал кашлять, на грудь жаловаться. И чуть свет бывало бежит в огород посмотреть не выткнулся ли где боб.

А уж как найдет это самое растение — накинется на него как лютый враг. Даже корешки истребит. Потом оглянется, опустит голову.

«Это, говорит, я не боб вытащил, Елпидифор. Это я свое сердце из груди вынул».

Конечно, утешал я папашу как мог.

«Успокойтесь, говорю, папаша. Ничего, говорю, папаша. Не сомневайтесь, говорю. Дела, говорю, войдут в русло собственной жизни».

Да разве утешить человека, когда и у самого на душе неспокойно?.. А тут еще подошла осень. Хмурая она была в том году, туманная и дождливая. Словно бы камень кто положил на сердце, так стало нехорошо и неловко... Слег папаша в скором времени в постель.

«Слабость, говорит, я чувствую и круженье собственной головы. И шум, говорит, у меня в ушной раковине. Как будто ангелы юбочками меня обвевают».

Плакала маменька глядя на папашу. Очень уж плохо он выглядел — один нос остался, да черная бороденка. И бывало ночью проснется папаша:

«Воздуху — кричит. Задыхаюсь... Откройте окна... А окон то и было у нас всего лишь одно, с зелеными ставнями, что закрывались снаружи...»

Откроем мы окно с маменькой — на дворе непогода шумит, черные качаются деревья. Привстанет папаша с подушек.

«Голоса, говорит, слышу. Кто это шепчет за домом?».

«Лежи спокойно — говорит маменька. Никого нет в окрестностях. Это гуси летят на юг — перекликаются».

«Гуси?» — спросит папаша.

«Гуси, гуси» — утешает маменька.

«Ну, слава Богу! — вздохнет папаша. Люблю, говорит, я очень пение птиц»...

Наведалась еще помню к нам в ту пору мадам Огуречкина. Двух деток с собой принесла показать крестному. И как увидела папашу в таком болезненном состоянии —

«Вы, говорит, над ним бы обряд совершили. Видно уже у него на лице смертельное выражение. Пусть, говорит, хоть умрет миропомазанником».

И правда — после помазания папаша значительно приободрился. Даже кашлять стал меньше и сны у него были спо-

койнее. Раз только, помню, вскочил он ночью с постели. Подбежал к окну, стучит от страха зубами.

«Бумага — говорит. Повсюду бумага. Это ты, Елпидифор, залил бумагу чернилами?».

Глянул я в окно — снег выпал за ночь. Бело вокруг и луна стоит над деревьями. А папаша тычет в окно руками и весь дрожит.

«Не говори столоначальнику, Елпидифор. Мы сначала промокашкой, а потом ножичком перочинным выскоблим. Вот он и не узнает. Или, говорит, дай я лучше языком вылижу».

Взял я папашу на руки. Легкий он уже был тогда, как перышко.

«Полно, говорю, папаша. Это у вас ночные грезы и мечты».

Уложил я его на постель, прикрыл одеялом. А на утро случилось у папаша большое давление температуры. Жар кинулся ему в голову — стал гореть человек, как свечка. И до Рождества не дожил. Под самый Сочельник помер.

Явственно помню я эту ночь. Никогда ее не забуду — не вырвешь из памяти. Измаялись мы с маменькой у смертельного ложа папаша. Метался он на подушках, бормотал... То про бобы вдруг вспомнит — заплачет. То, говорит, книгу забыл пропнууровать.

«А книга, говорит, эта важная — приключения Ната Пинкертона».

И уж стал было отходить, даже свечку зажгли мы заупокойную. Вдруг как вскинется на постели. «Слышите? — шепчет. Дьявол зовет. Сатанинский, говорит, крик».

«Что ты, что ты Сеня! — успокаивает маменька. И крестится. Это осел у булочника Учурова. Разве не знаешь? Ослы, говорит, всегда по ночам кричат, когда их кто либо потревожит».

Упал папаша на подушки и уж больше не двинулся. Так и помер в тихом состоянии и при полной потере чувств. Обомлела маменька с горя, села в уголку под образами. И день пришел — а она сидит не шелохнется. Пришлось мне самому хлопотать насчет погребения. И как не было у меня практики в этих делах — растерялся я, признаться, малость. К тому же молод еще был — всего лишь семнадцатый год исполнился.

«Прежде всего, думаю, надо бы обзавестись собственным гробом».

Кстати через улицу от нас жил гробовщик Супостатов. Пошел я к нему, объяснил в чем дело.

«Хорошо — говорит Супостатов. Пойдем. Надо, говорит, смерить длину и ширину усопшего покойника».

Пришли мы. Достал Супостатов аршин. Склонился над папашей — вымеривает.

«Эка, говорит, неудача! На четыре вершка не выходит.

Быть бы им на четыре вершка короче, — я бы им гроб готовый предоставил. Или быть может согласитесь, чтоб они были в гробу с подогнутыми ногами? Оно, говорит, будет почти и незаметно. Так чуть-чуть колени в гору приподняты. Все равно китайской прикроете».

Задумался я тогда — понятно, дело для меня не знакомое. А Сушостатов говорит:

«Им ведь и так надоело стоять всю жизнь на вытяжку перед начальством. Пускай хоть в гробу отдохнут в изогнутом виде»

Согласился я тут безусловно. Для аккуратности немного поторговался. Помню еще с могилой много было хлопот и всяких обстоятельств. Крепкие в ту зиму держались морозы — земля была тверже камня и гудела как бубен. Никто не соглашался копать могилу. Еле уговорил одного могильщика и то за громадную цену.

«Я, говорит, только для вас соглашаюсь. Для другого бы и не пробовал. Потому земля теперь, как железо. А я, говорит, люблю зарывать добросовестно. Уж если зарывать, так зарывать. Иной зароет — чуть землей притрусит. А уж я, говорит, закопаю и страшного суда не услышит покойничек. Мне, говорит, что мороз, что не мороз — наплевать. Только на водку прибавьте чтонибудь для согревания тела».

Подсчитал я вечером расходы. Вижу меньше как за девять рублей не управиться. Ну да чтож, думаю. Смерть, думаю, бывает один раз в нашей жизни...

И вот сколько уже прошло лет с тех пор — а памятно мне эти папашины похороны...

Помню, как маменька кричала на кладбище, хотела даже в могилу броситься — за руки оттащили. А потом вышел оратор — господин Сусликов. Трогательно говорил господин Сусликов. Прямо за сердце хватал словами.

«Ты, говорит, был... И вот тебя нет моментально. Мы, говорит, еще здесь, а ты, говорит, уже там»...

Многие плакали тогда от жалости. А когда шли с кладбища — держал я подручку маменьку. Спотыкалась она в снегу, хоть и смотрела в землю. И как подошли мы к воротам кладбищенским — вдруг говорит мне маменька (до той поры все время молчала):

«Надо, Елпидифор, квочку уже сажать на яйца. Ту, говорит, рябую, что с выбитым глазом»...

И здесь же заплакала горько прегорько. Склонилась мне на плечо головою.

«Он, говорит, покойник то наш... Ему бы теперь цыплят выводить!»...

Екнуло у меня сердце.

«Ничего, говорю, маменька. Образуется, говорю, обтерпится».

Но уж как сели мы в сапочки за оградой, как зазвенели зимние эти бубенцы — дзюнь, дзюнь — полыхнуло мне в сердце острой болью.

«Вот, думаю... бубенцы разные... финтифлюшки... Звенят они себе — для украшения привешаны»...

И заплакал я тогда неутешно, главным образом от обиды и огорчения.

2.

И вот хочу я еще сказать о человеческой природе. Иной раз ползут мысли — голова кружится. Может стать от мыслей этих и облысел я так рано. Потому задумывался глядя на жизнь.

«Вот, думаю, живем мы... А для чего — неизвестно. И земля, думаю, вертится. И есть, думаю, на свете всякие злаки — например, бузина, или, скажем, смоквица. Тоже самое апельсинны... Однако, как разобраться? Ведь, если живет в океане кит-рыба — значит необъятна Вселенная. А поймашь на собственном теле блоху и помыслишь: какое ничтожество насекомого существа! Дунешь — и нет его. Ровно бы никогда и не существовало. Тоже о слонах еще вспомнишь... Поразительная скотина! Хобот один чего стоит. Агротомный хобот, как пожарный рукав»...

И уж не было мне в те годы покою от умственных рассуждений. В особенности, как помер палаша, задумывался я все чаще и чаще. А тут пришла пора — поступил я на службу в Палату. Ради, конечно, куска хлеба и для удовлетворения естественных потребностей. Но и на службе, бывало, напишешь бумагу и задумаешься вопросительно.

«Для чего мол эта бумага существует? Зачем она, как и почему? По какой такой причине? Вследствие каких обстоятельств? На основании какого решения?».

Думаешь, думаешь, так прикинешь и этак, все равно один толк — ничего не понятно! А разобраться бы надо. Хотя бы из аккуратности. И как ходил к нам в то время студент Голопятов, Андрей Иванович, задал я ему, конечно, ряд вопросов.

«Ишь, говорит Голопятов. Занятный вы человечешко. Вам бы книг побольше читать».

И дал он мне книжонку одну о небесных светилах. Любопытная была книжонка. Подняла она во мне характер и гордость. Допрежь не задумывался о своей физической личности, больше о других старался, а здесь пришлось задуматься. В особенности глядя на луну.

«Вот, думал я — луна... Конечно она круглая. Шарообраз-

ное, можно сказать, тело. А отчего на нее все-таки собаки воют? Откуда лунатизм такой и прочее? Междупланетное пространство? Хорошо, думаю, пускай так. Для чего же оно существует?».

И уж как начнешь думать — бывало всю ночь в постели переворачиваешься, не спишь. Ну а маменька, понятно, как все старые женщины, по своему объясняла волнение моей души.

«Надо тебя оженить, Елпидифор. Пора войти тебе в супружескую связь. И есть, говорит, на примете у меня одна такая девица. Красавица собой и денег за ней полторы тысячи. А что глуховата она на одно ухо, так это же ни Бог весть какая беда. Меньше будет знать — для тебя же лучше».

«Что-ж, говорю. Я готов, маменька. Хоть сейчас согласен на брачные сношения. Существуют, говорю, и у меня в душе свои идеалы».

И правда, думал я уже об этом. Мысленно представлял себе всякие семейные картины, хоть и стыдился об этом рассказывать. Обрадовало, конечно, маменьку мое согласие.

«Теперь, говорит, в момент все дело устрою. Уж так оженю — водой вас не расцепят. Главное, говорит, свести бы вас надо поскорее, познакомить».

И на это я согласился, конечно. Даже попросил сам почти-точно:

«Уж будьте вы, маменька, нашей дорогой свахой».

С того дня охватили меня всецело супружеские мысли. Надо сказать, что возраст был у меня аккуратный — двадцать второй год пошел с осени.

Однажды пришел я со службы, а маменька мне и об'являет всеуслышание:

«На мази наше дело, Елпидифор. Ждут тебя завтра к чаю господа Колокольцевы».

Скажу здесь откровенно — взволновался я близостью свидания. Целый вечер шарил в шкапулке папашинной — выбирал себе галстучек подходящий. Остановился на черном с белыми пятнышками. «Этот, думаю, лучше всего. И солидарность соблюдена и веселость сразу в глаза бросается».

С тем и успокоился. А утром следующего дня еще до службы сбрил свою бороденку — потому баловство это было. Так клок волос. Вроде того, как у инюго под мышками. И, как сейчас помню, долго я ходил вокруг заветного палисадника — все не решался постучать в калитку. Наконец, вижу, мелькает между деревьями фигура женского телосложения.

«Не иначе, думаю, госпожа это Колокольцева. Потому широка очень в своем профиле и физиономия в морщинах».

Подошел я поближе.

«Сударыня, говорю. Дозвольте представиться моей персоне».

Вскрикнула она, застыдилась.

«Ах! — говорит. Какая странная встреча!».

Однако, открыла калитку без замедления. Снял я фуражку.

«Простите, сударыня, за мое внезапное присутствие. Поэтому, говорю, как есть у вас дочка — я пришел, значит, предложить свои супружеские услуги».

Вдруг, замечаю, смутилась она, даже покраснела в лице.

«Вы ошибаетесь, говорит. У меня еще нет дочки».

«То есть, как это нет?».

«А так, говорит, очень просто. Я еще сама дочка».

Смекнул я моментально, что дал маху. Однако, сейчас же поправился.

«Конечно, говорю. Так я и думал. Это, говорю, я о вашем будущем младенце выразился».

Закраснелась она еще пуще прежнего. Даже глаза прикрыла руками.

«Шутник, говорит, вы большой. Впрочем спасибо за комплименты. Только что-ж это мы стоим снаружи? Не угодно ли в дом чайку откушать?».

«Чайку? — спрашиваю. С удовольствием».

Сказал я это для храбрости, а сам между тем подумал: уж не повернуть ли мне потихоньку домой. Бог с ними, думаю, с тысячами. Больно уж физиономия у нее не подходящая. К тому же, и лета у нее не в порядке. Годков под сорок ей, если не больше. . . Однако, вспомнил здесь же свое печальное существование и решился. Все равно, думаю. От судьбы не уйдешь.

И все-таки билось у меня сердце в грудной клетке, как переступал я порог их домашнего жилища. Понятно, угостили они меня до чрезвычайности интеллигентно. Чай предложили с вареньем и закуску выставили. А как выпил я четвертый стакан чаю госпожа Колокольцева подозвала рукою дочку.

«Неонила! — говорит. Покажи господину Кукурекову красоту естественной природы. Только калитку закрой плотнее, чтобы свинья в сад не попала».

Понял я моментально, что в саду предстоит мне любовное объяснение. Дрожь меня охватила и нервное расстройство. Вышли мы в липовую аллею и остановились под деревьями. Так минут пять стояли молча. Она молчит и я молчу. Только и слышно, как лист сухой шелестит по дорожке. Наконец, подняла она на меня глаза и покраснелась.

«У вас, говорит, очень приятный голос. Не пойму только бас или тенор. Вы не артист?».

«Нет, говорю, не артист. Я состою переписчиком в казенной палате. По статистическому отделению».

Вздохнула она и голову опустила. Потом вдруг встрепенулась.

«У нас, говорит, был здесь артист в прошлом году — господин Безыменский. Очень он красиво пел. В особенности романсы из оперы. Бывало станет на коленки, протянет руки и поет: «ты мою жизнь погубила коварная женщина»... Очень чувствительно выходило».

«Да, говорю. Вообще искусство это нечто замечательное. Вроде поэзии».

Помолчали мы опять некоторое время. Сообразил я, что пора уже сделать барышне какое нибудь предложение. И уж открыл для этого рот, но она вдруг первая заговорила.

«Скажите, говорит, любите ли вы мороженное на ванили?».

Взял я ее тогда за руку и говорю:

«Нет, говорю, не мороженное я люблю, а вас. Давайте будем жить в качестве супругов».

Засмеялась она в смущении, однако руки не отняла.

«Ах, говорит, какой вы бесстыдник! Впрочем я согласна. Теперь только иди расскажи все маменьке. Да спроси ее насчет свадьбы, потому платьев у меня не заготовлено подходящих».

«Ну, уж насчет этого ты не беспокойся — говорю. Потому раз для тебя, так уж я сам постараюсь о тебе. Твои дела все равно что мои. Уж ты, говорю, будь уверена».

Словом стал я женихом с того времени, как полагается, по закону. Назначили мы, понятно, и время свадьбы — на второй неделе после сговора. А чтоб известить о нашем решении широкие массы публичной толпы, порешили устроить гостеприимную вечеринку. Пригласили, понятно, местные круги и вообще всех знакомых с обоюдной стороны. Я, например, и студента Голопятова, Андрей Иваныча, позвал. И еще кроме того нескольких знакомых. Конечно, и маменька кое-кого от себя пригласила. Словом старались, чтобы все вышло по хорошему. А на самом деле вышло такое... Да что и говорить! Неприятная вышла история. И все из-за чепухи.

Вечером, как собрались гости в доме Колокольцевых, затеялась после ужина игра. Играли, конечно, главным образом, кавалеры и барышни. Барышня пряталась, а кавалер должен был ее отыскать. В случае нахождения полагалось взыскательное наказание. Главным образом, разумеется, поцелуй... Вот и говорит мне невеста моя:

«Ищите меня, Елпидифор Семеныч! Я от вас исчезаю».

Бросился я моментально в следующую комнату. Вижу темнота вокруг и никаких вещественных следов скрывшейся себе-седницы. Что делать — чиркнул я спичку, осветил на секунду комнату. И как наклонился в уголке у кровати (потому в спальне происходили розыски) — вдруг вижу предмет висит на стенке. Собственно ящик стеклянный и от него кишка тянется резиновая. Что, думаю за инструмент такой? Прямо таки, думаю,

музыкальное должно быть произведение. Взял я в рот кончик этой самой кишки, дунул — нет никакого звука. Однако, думаю, вещица занятая. Не может быть, чтоб она не издавала каких либо своеобразных звуков. Снял я, понятно, с гвоздя этот самый ящичек, положил его себе под мышку, а трубку во рту пристроил. Ну, думаю, покажу сейчас гостям концертное отделение. Вот уж могу сказать прямо — нечистый толкнул меня на это чреватое последствие. Потому как вышел я в гостиную залу — смех вокруг поднялся невообразимый. Студент Голопятов, Андрей Иванович, так тот даже упал со стула.

«Ох! — кричит. Боже мой! Держите меня, а не то лопну со смеха!».

Развеселился, конечно, и я, видя всеобщее настроение. Даже пропел в трубку какой-то маршик:

«Тра-та-та, тру-ту-ту!».

Здесь уж и барышни фыркнули смешливо. Когда вдруг, замечаю, подбегает ко мне госпожа Колокольцева.

«Это вы что? — кричит. Страмить нас вздумали?».

Глянул я на нее и испугался. Лютым волком смотрит на меня и руки у нее трясутся.

«Молокосос! — кричит. — Чтобы духу твоего не было в нашей семье! Чужло мое сердце, что не будет толку от таких же-нихов!».

Смутился я, понятно, видя такой прием.

«В чем дело, спрашиваю, мамаша? Потому, говорю, если есть какие либо улики против моей личности, объясните более административно. А кричать в публичном обществе не годится».

Поднесла она тут кулак к самому моему носу.

«Не годится? — кричит. А показывать гостям предметы человеческого туалета годится? А стыд делать и секретные вещи показывать можно?».

Растерялся я, понятно, совершенно от таких слов. Стою недвижно, ящичек этот самый в руках держу. Только вдруг подходит ко мне студент Голопятов, Андрей Иванович.

«Унесите, говорит, сей предмет моментально».

«Да в чем же дело? — спрашиваю. По какой причине?».

«А потому, говорит, что служит сие для промывания человеческого желудка. Кроме того напрасно вы так поступили. Все-таки присутствуют здесь многие благородные девицы».

Понял, наконец, и я в чем дело. Бросил об землю проклятую эту штуку, закрыл лицо руками. Так со стыдом и ушел через некоторое время. Ну, понятно, расстроилось наше грядущее супружество... И не потому, чтобы я любил, или, скажем, на деньги приданые зарился, но стало мне почему-то до чрезвычайности грустно. Прямо таки места себе не находил — все размышлял преимущественно о жизни. Подумаешь бывало: откуда бе-

рутся на свете разные упокойники? По причине смертоубийства? Но, опять-таки, почему каждый, скажем, утопленник непременно плавает сверху? А иной тоже повесится — и висит себе на дереве преспокойно... Или еще так помыслишь: одному и богатство и уважение, словом, все преимущества идеалов. Потому у него образование. А другой, глядишь, мается целый свой век понапрасну. Что же касается службы — так подайте нам аттестат половой зрелости. И такое меня обуяло уныние... Вижу ясно — несправедливость на нашей территории и непонятность. Ну да уж передумал я об этом как следует позже, когда попал в тюрьму. Случилось же это, как сейчас помню, вскорости после Покрова. Еще о тот год была у нас в городе ярмарка и множество понаехало всякого народу. Шел я как-то по ярмарочной площади... Надо бы, думаю, сонник купить хороший. А о соннике я давно уже возмечтал. Снились мне в то время всякие поразительные явления. И только это подошел я к книжным лоткам — вдруг окликают меня:

«Еллидифор Семеныч»!

Вижу, студент Голопятов, Андрей Иванович, машет рукою.

«Ведь вот, говорит, как хорошо, что я вас здесь встретил.

Вы для меня в настоящее время самый необходимый человек».

«Чем могу служить?» — спрашиваю.

Подошел он ко мне, поздоровался.

«Какая такая служба? — говорит. Пустячек прямо таки, а не служба. Вот эти объявления надо роздать промеж народа».

Действительно, вижу, держит он под мышкой целую кипу печатной бумаги.

«Я б, говорит, и сам их роздал, да нет у меня свободной минуты, — тороплюсь на урок. А вы человек аккуратный, на вас можно положиться с совершенным уважением».

«Что-ж — говорю. Давайте. Для меня это на самом деле сущий пустяк».

Передал он мне все свои бумаги и, напоследок, еще попросил:

«Уж вы роздайте, Еллидифор Семеныч, незамедлительно. Потому это насчет хозяйственных дел. Касательно крестьян и рабочих».

«Если так, говорю, будьте покойны. Мигом слетаю и удовлетворю общественные нужды».

Пошел я, значит, по ярмарке, промеж торговых рядов. Одному дашь, другому... Вижу читает публика с интересом. И как увидал я, конечно, городского и ему дал бумажку. Все-таки, думаю, должностное лицо. Уж ему то, думаю, главным образом надлежит ознакомиться. Только как всполошится вдруг господин городской.

«Стой! — кричит. Ни с места!».

И сейчас же, замечаю, обнажает горячее оружие.

«Ты это, кричит, по-что народ мутишь? Откудова, спрашивает, эта литература?».

Обмер я, понятно, со страху. И язык во рту, как осинковый кол — ни вправо ни влево. А городской меня, понятно, за шиворот и рукой по физиономии хлещет. Даже публика стала вступаться:

«За что бьешь человека? Ишь, говорят, физиономист какой нашелся!».

Ну да что уж распространяться! Арестовали меня, конечно, по всем правилам судебных законов. Вышло, стало быть, что я оказался главным политическим арештантом и специалистом по каторжным делам. И, ах, как убивалась маменька! И по-сейчас, как вспомню, орошаюсь слезами.

Пришла она вскорости проведать меня в арестное отделение. И как увидала, что я за решеткой — горько преторько заплакала. А поплакав спрашивает:

«Пидя, говорит, скажи правду тебя на цепь не посадят?».

«Бог с вами, маменька. Здесь и цепей нет приблизительно юдходящих».

Вдохнула маменька тяжко. И вдруг пугливо так по сторонам огляделась.

«А что, шепчет, ты зарезал кого, или так только из ливорверта стрельнул?».

Закричал уж тут я на маменьку не своим, можно сказать, криком. Прямо таки сердце у меня захолонуло от этаких ее слов.

«Маменька!» — кричу я.

И плачу.

«Маменька!».

А маменька уже сама перепугалась от собственных своих выражений.

«Полно, говорит, голубчик. Вижу, что спутала старая дура. Уж и сама теперь понимаю, что есть ты так себе безобидный вор, а то и просто фальшивый монетчик».

«Да нет же! — кричу. — Поверьте, маменька! Я и клопа не убью без крестного знамения».

И так мне горько в ту минуту сделалось вследствие и по причине ее слов... А уж как стали прощаться — развернула маменька узелок, вынула священную просфорку.

«Возьми, говорит, сынок. Скушай на здоровье. Еще папаша, покойник, сию просфорку откусил собственными зубами».

Потом простерла ко мне свои материнские руки и говорит: «Благословляю тебя на долгое тюремное сидение и арештанскую жизнь».

С тем мы, конечно, и распрощались. И уж не видел я больше маменьки на этом вещественном свете... Позже писала она

мне еще о своем положении и обстоятельствах жизненных условий. Но опять-таки — что скажешь в письме? Какойнибудь сущий пустяк, без всякой психики и ясности душевных струн. Оно, конечно, и письмо является результатом. Но все-таки, главным образом, ряды безжизненных строк. А ведь рассудишь с умом: что такое письмо? Бумага — сплошная бумага и больше ничего... Ну да писала мне маменька уже значительно позже. Вскорости, помню, вызвали меня на допрос к господину судебному следователю. Очень мне помню понравился этот господин. Усадил он меня перед собой на стуле. Как отец родной обласкал и успокоил.

«Вы, говорит, Кукурекков, не бойтесь. Видали мы и пострашнее преступников. А что вы анархист, так это же совсем ничего. Главное признайтесь нам во всей откровенности и по чистоте вашей души».

И так это он ласкательно говорил — прямо таки привел меня в умиление.

«Ваше превосходительство! — говорю. Только, говорю, вам за вашу ласку и внимательное обхождение... Потому, говорю, как есть не пойму за что пострадал, сохраняя свою невинность».

«Так, так — говорит. А признаете себя анархистом?».

Задумался я в ту минуту, чтобы значило это слово. Но как взглянул на господина следователя мигом успокоился. Ведь вот, думаю, с какою ласковостью во взоре. И сказать бы знакомый — а то как есть чужой человек.

«Признаю, говорю, ваше превосходительство. Раньше, говорю, сомневался, но уж как вы об'яснили — вижу и сам, что так оно есть действительно».

Усмехнулся тут господин судебный следователь, потрепал меня по плечу.

«Ну вот и хорошо. Спасибо за признание».

«Нет, говорю. Вам спасибо, ваше превосходительство. За ласку вашу и культурный разговор. А уж я вас никогда не забуду».

«Да, говорит, меня забыть трудновато».

И ведь правду сказал — не забыл я его. Потому умилительный человек был и обхождения европейского. Виделся я с ним еще раз после суда в жандармском управлении. Узнал он меня, — сам подошел, поздоровался.

«Здравствуйте, говорит, политический деятель! Теперь, говорит, назначьте нам город куда бы вы хотели поехать. А уж мы вам и на дорогу дадим и стражника для вашей охраны предоставим».

«Что-ж, говорю, ваше превосходительство. В Харькове у меня есть тетка замужняя. К ней бы, разве так, чтоб проведать».

Вижу удивился господин следователь до чрезвычайности, даже в голове почесал. Понял я, что неладно как выразился.

«Впрочем, говорю, Бог с ней с теткой. Лучше в Одессу с'ездить. Есть там у меня двоюродный брат в машинистах. Давно уже зовет навестить».

«Экий вы человек! — сказал господин следователь. Мы вас по этапу, в Сибирь, а вы все насчет южного полушария. Скажите лучше куда вам желательно: в Иркутск, Красноярск, или в сибирскую тундру к самоедам?».

Крепко задумался я насчет этих слов. Оно и на самом деле — как угадать, где лучше? Ну да уж решил положиться на привидение своей судьбы.

«Так что, говорю, в тундру, ваше превосходительство, желаю. К этим самым, как вы изволили выразиться, самоедам».

«Что-ж — говорит. Поезжайте. Вы человек молодой. А это все-таки путешествие интересное, к тому же на казенные средства».

И так это ласково засмеялся! Потом попрощался со мной за ручку и пожелал счастливой дороги.

Вышел я со стражником на улицу (зима уже, помню стояла повсюду). И вдруг, как в давнее время, слышу бубенцы — дзень, дзень... Ровно бы резнуло меня что по сердцу. Эх, думаю, раззвонились!

А на утро везли меня по этапу в дальнейшее путешествие.

3.

Ну уж, доложу, и дорожка была! Никаких, собственно путей сообщения. И как выехали мы из города Енисейска, стражник мой, Филипп Иванович, троекратно перекрестился. «Теперь, говорит, проститесь, молодой человек, с русской культурой и с казенными винными лавками». И этак сокрушенно покачал головой. Оторопь на меня нашла, понятно.

«А что, спрашиваю, Филипп Иваныч, скоро ли будет Туруханский край?».

Крякнул Филипп Иваныч, досадливо махнул рукой. «Прыткий вы человек. Шибко у вас мысли в голове бегают. Мы еще и сотни не проехали, а вы уже за тысячу верст летите. Вот, говорит, смотрите — и на бороду свою указывает. Как вырастет она, борода, значит, до пояса, тут вам будет и Турухан».

А бороды у Филиппа Иваныча и вовсе не было. Побрился он перед отъездом из города — только усы оставил на манер белой щетины.

Эге-ге — думаю. Выходит, стало быть, нечто вроде кругосветного путешествия.

И уж совсем я размяк тогда от внутренних переживаний.

Главное, смотрю — безотрадные вокруг окрестности. Дремучая природа и непроходимые леса. А мороз, ровно ногтями, по спине царапает.

Только, замечаю, усмехается в усы стражник Филипп Иванович.

«Что, говорит, перепугались молодой человек. А видите на дороге метелки?».

«Вижу» — говорю.

«Так это же не метелки, а елки».

«Конечно, говорю. Самые настоящие елки».

«Правильно, говорит, угадали. А только под елками видите волки?».

Вскрикнул я, понятно, от страха; сам за шапку ухватился Филиппа Иваныча.

«Доставайте, моментально, ливорверт! Поскорее, говорю, ради Христа!».

Засмеялся Филипп Иваныч.

«Ишь, говорит, как всполошились! А ведь я это только для ради стишка сочинил. Никаких волков нету в наличности, а есть только русская поэзия и образованность души».

И на самом деле стал я замечать — выражался Филипп Иваныч по большей части стишками. Иной раз устает в небо и говорит:

«Ага, говорит, ага — будет нынче пурга»...

И еще про ямщика нашего сочинил произведение. Очень развлекательный человек был Филипп Иванович. Вечеру однажды, как приехали мы к почтовой станции, вышел к нам навстречу человек с поразительной личностью.

Никак китаец — подумал я. Потому брови к ушам оттянуты и на месте носа сплошная переносица.

«Удивлены? — спросил Филипп Иваныч. Думаете скелет какой или костяк? А есть это просто сибирский остяк».

И по спине хозяина кулаком саданул. Вижу усмехается кособровый, ручкой показывает нам на дверь — входите мол дорогие гости. И, конечно, выругался по трехэтажному.

«Не смущайтесь — говорит мне Филипп Иваныч. Это он вместо «здравствуйте» по причине незнания языка. А человек есть очень приятный. И имя ему христианское дадено — Феррапонт».

И как уселись мы за столом в светлице, Филипп Иваныч говорит:

«Феррапонт! Готовь нам пельмени. А на утро, чтоб были олени!».

Потом достал из кармана бутылочку водки и налил два шкалика.

«Выпьем, говорит, за близость пути и позвольте вас поздравить с тундрой».

«Как! — кричу. Уже?».

Усмехнулся Филипп Иванович.

«Чтоб уже, так не уже. А можно сказать как-раз на меже. Завтра, Бог даст, переедем границу».

Дух у меня захватило от подобных слов. И хоть шумело в голове изрядно вследствие выпивки, а все-таки сообразил: широту и долготу значит проехали и находимся аккуратно под градусом.

И вспомнилось мне школьное образование насчет битов. Неужто, думаю, достигли местоположения? А Филипп Иванович между тем улегался на кушеточке и книжку попросил у хозяина. Почитай что одна и была эта книжечка во всем доме. Но все-таки с картинками и насчет швейных машин. Как сейчас помню сочинение господина Зингера. Взглянул на меня Филипп Иванович и говорит:

«Люблю, говорит, почитать перед сном. Иной раз пойдут от этого такие сновидения, что только диву даешься. Нервный, говорит, я сделался человек от культуры».

И при этом закрутил в гору усы, а сам на меня поглядывает. Но как был я в расстроенных мыслях, ничего ему не сказал на это, промолчал. А Филипп Иванович видимо обозлился до чрезвычайности. Отвернулся к стенке и вскорости заснул крепкими снами. Утром же, чуть свет, пробудился я по причине толчка. Смотрю стоит надо мной Филипп Иванович уже в одеянии, при шапке и с ливорвертом на боку.

«Вставайте, говорит, нечего прохлаждаться. Разлегись, как моржовое животное. Это вам не гостинница, а этап для каменных работников».

Вскочил я, понятно, на ноги. Солнце, гляжу, чуть из-за леса выткнулось. А Филипп Иванович хмурится и все поторапливает. «Живей, живей!».

Оделся я скорым манером и вышел вслед за ним наружу. И хоть солнышко уже поднялось изрядно, однако, холод был прямо таки собачий. Даже в груди теснило и слезы на глаза наворачивались. И вот тут-то увидал я впервые страшных зверюг. Вывел их хозяин наш из сарайчика, стал запрягать в сани. Как посмотрел я на рога их и морды, вскрикнул и ужаснулся.

«Филипп Иванович! — говорю. Как вы себе хотите, а я на этих зверюгах не буду кататься. Лучше пешком пройдуся, а только ни за что не сяду».

«Не слдешь? — закричал Филипп Иванович. Так я же тебя сам посажу!».

И по физиономии меня, аккуратно по зубам, ударил. Сплюнул я на снег под кусты — вижу с кровью зуб передний выва-

лился. И так мне стало горько и досадно, прямо-таки, скажу, до слез. Тут уж и Филипп Иванович смутился. Ничего больше не сказал, а только стал голову в башлык укутывать.

Выехали мы, понятно, вскорости в поле. Завирюха, поднялась ужасная. Так и чешет, так и чешет! Чувствую замерзает мой организм. А примостился я, надо сказать, совсем на задке, принимая во внимание близость рогов. Только вдруг говорит Филипп Иванович, якобы сам с собою и на меня даже не глядя вовсе.

«Чудной, говорит, народ пошел. Чуть что, так сейчас же с обидою. И по зубам его не ударь, и слова не скажи лишнего... А того не поймут, что служба. Я же, говорит, не из собственного удовольствия зубы эти самые выбиваю. Не так, чтоб просто себе взял да и выбил. Я, говорит, выбиваю их по закону. По указу государя императора и министерства внутренних дел».

И тут косячком на меня поглядел — слушаю ли я его речи. Ну а я, понятно, молчу, потому затаил в сердце обиду и думаю все насчет зуба. Неаккуратность, думаю, теперь у меня во рту и еще когда подчинить придется Бог его знает. Кроме того вспухла губа и разболелась на морозе.

Проехали мы этак молчком верст с десяток. Вдруг поворачивается ко мне Филипп Иванович и говорит:

«Знавал, говорит, я в Архангельске одного матроса. Очень был прекрасный человек и отважный мореплаватель. На маяке он служил всю свою жизнь смотрителем. Так ведь он сам себе зуб этот спереди вытянул. Оно, говорит, сподручней человеку курящему. И трубку удобнее во рту держать и плевать, говорит, ловчее».

Осерчал тут я на Филиппа Ивановича и обозлился.

«Филипп Иванович! — говорю. К чему эти речи? Ведь вы же знаете, что я не курю табачных изделий. А что зуб, говорю, вы мне вышибли, так пусть вас за это накажут на небесах».

«Ну, ну! — говорит Филипп Иванович. Вы уж насчет религии оставьте. Давайте лучше хлебом на открытом воздухе да и помиримся по человечеству чувств».

Конечно, выпили мы по рюмочке и примирились на самом деле. И уж скажу по совести — лучшим приятелем стал мне Филипп Иванович с того времени. Бывало в пургу попадем, в мятель, сам норовит меня укутать теплее.

«Не застудились бы, говорит, с непривычки».

А как приехали мы к месту назначения в Туруханский край, стал меня утешать Филипп Иванович.

«Конечно, говорит, природа здесь не совсем здоровая. Можно сказать, никто и не выживает из приезжих туземцев. А только вы не унывайте. И без солнца, говорит, тоже обойдетесь очень прекрасно. Даже наоборот, больше будете спать и время скорей

убежит. Вам то что, пустяк — семь лет с половиною. А я, говорит, знал одного — ему четырнадцать лет присудили. И ничего. Веселый был господин покойничек».

Словом утешал меня Филипп Иваныч со всей душевностью характера. Однако, как огляделся я хорошенько по сторонам и сердце у меня упало вовсе. Вижу действительно как в науке написано — полярный круг везде и никаких точек опоры. Одни только чумы торчат по сторонам — самоедские, значит, жилища. А Филипп Иваныч все меня подбадривает.

«Это, говорит, не то что Сахалин, или, скажем, Архангельская губерния. Там от одних комаров да мошкары с ума сойти можно. Здесь же кроме вшей ничего такого и не водится. Ну а вшей, конечно, гибель, потому домашнее это животное».

«Нет, говорю, Филипп Иваныч. Напрасно утешаете. Чувствую, что помереть мне суждено вдали от потомков. Чувствую, говорю».

И расплакался я, понятно, горячими слезами. Покачал головой Филипп Иваныч.

«Эх, молодой человек, господин Кукуреков! Понапрасну вы так убиваетесь. Пойдем лучше покажу я вам жилище ваше. Очень, говорит, симпатичная будет у вас юрточка. Жил в ней недавно один политический. Аккуратный человек был, царство ему небесное, и чистоту соблюдал. Вон там справа его могилка виднеется. Крестик себе, говорят, еще при жизни сготовил».

«Да уж ведите, говорю, куда хотите, Филипп Иваныч. Мне, говорю, все равно».

И правда — был я в расстройстве чувств и мало что соображал в то время. Однако, как подошли мы к этой самой юрточке, выскочила оттуда собака кудластая и завyla на нас протяжно. Приласкал ее Филипп Иваныч, погладил.

«Здравствуй Полкаша! Ишь, говорит, как убивается сердечная! А пес этот мне очень знакомый — по наследству он переходит от одного арештанта к другому. Вроде бы вечной вдовы. И как теперь он вам надлежит, так и вы его приласкайте».

Ну, понятно, погладил я пса, хоть и думал совсем о других обстоятельствах. А Филипп Иваныч все меня утешает.

«Помолитесь когда захотите — так вот же вам из оконца прямой вид на кладбище. Оно хоть, конечно, и не Божий храм, а все-таки православные кресты. И души усопшие здесь поблизости покоятся».

«Спасибо, говорю, вам, Филипп Иваныч, за вашу ласковую заботу. А только, говорю, что-ж мне за польза от усопших покойников? Ни посмотреть на них, ни словом перекинуться».

«Ну — это вы от уныния — говорит мне Филипп Иваныч. Был здесь перед вами политический арештант, так он даже очень прекрасно сам с собой разговаривал. Иной раз сам же на себя

и накричит в расстройстве. А как пришлось помирать, так и молитву прочитал над собой заупокойную».

«Так то оно так — говорю. А все-таки скучно на душе очень».

«Ничего — говорит Филипп Иваныч. Обживетесь — привыкнете. Но только буду я с вами прощаться. Потому поспешаю в обратный путь».

Как сказал это он мне, так я и обмер. Прямо таки оторопел от внезапности. А Филипп Иваныч и впрямь спешил — наскоро со мною простился и сел в саночки.

«Прощайте, говорит, господин Кукуреков. Не поминайте лихом. А провианта вам через год еще предоставят.. Живите себе на здоровье».

Рванулись эти рогатые зверюги, шибко пошли по снегу, и уж не видел я больше Филиппа Иваныча. Долго простоял я тогда, помню, у дверей своего жилища. Потом вошел в середину, во внутрь и прилег на кушеточке. И уж не знаю сколько часов пролежал я таким манером. Только пробудился внезапно, вследствие собачьего лая. Гляжу взбесилась ровно собака, прямо таки на дверь кидается. А за окном светло как на пожаре. В чем дело — думаю. Подошел я к оконцу, взглянул. Пол неба, вижу, в огне и снег серебром отливает. И вижу еще жители собрались повсюду, о чем то про меж собой разговаривают. А самоедов этих я еще вовсе не видел, потому попрятались они по нашем приезде. Теперь же, гляжу, преспокойно себе расхаживают. Вышел я за дверь. Любопытство меня одолело. Что, думаю, за обитатели? Какие у них есть обычаи страны? И еще всякие вопросы обдумываю. А они увидали меня и сами подходят навстречу. И по своему все лопочут, по самоедскому. Только выходит один из собрания ихней толпы и руку протягивает.

«Твою мать, говорит, хорошо?».

Удивился я, понятно, чтоб это значило. Однако, сообразил: видно насчет моих предков справляется.

«Да так, говорю, что о маменьке и мне неизвестно куда».

А он усмехается.

«Хорошо, говорит, твою мать. Водка хорошо. Твою мать хорошо».

И как не знал он, конечно, больше по русски, так мы на том наш разговор и покончили. Однако, обступили они меня вокруг, как заморское какое чудовище. В особенности бабы ихние глазуют и ребятишки. Пиджачок мой щупают повсюду, смеются. И у всех, замечаю, волосы чем-то намазаны, ровно бы клеем каким или маслом. Только, скажу по правде, жуткое это было созерцание. Очень даже неправдоподобные у них лики. А нос почитай им так сотворен для близиру. Потому и пальцами его не захватишь, чтоб высморкаться по благородному. Ну а все-таки,

как обжился я промеж них немного, привык. Стал на охоту иной раз ходить на зверя и птицу. Ружьишко мне по наследству досталось от прежнего арештанта. И книжку я нашел в юрточке — парижские моды. Много мне было от этой книжки умственных огорчений. Иной раз не спится ночью. Засветишь огарок — расероешь книжку. А оттуда дамочка глядит усмехається. Стоит она себе посреди улицы в нижней сорочке, или еще какомнибудь утреннем туалете.

Ишь, думаю, финтифлюшка!

И такая меня разберет досада, такое озлобление — передать невозможно. В особенности как задует, залпачет зимняя эта мятель, очень даже делалось скучно моей душе. Иногда и сон не идет об'ять, так вот просто не спится... И уж полезут тут всякие мысли. То про арбузы вдруг вспомнишь и усмехнешься. Недослаемый фрукт!.. Или насчет помады задумаешься. И, ей Богу, станет смешно. Зачем помада? Кому здесь нужен культурный вид? Где русская интеллигенция? Непостижимо!..

Вот так и прозябал я в тундре, в полном одиночестве ума и без всяких видов. Больше охотой развлекался и рыбным ужением. И времена, конечно, проходили без пользы. Только, помню, было это уже по второму году, подкатывают раз утречком незнакомые сани. Гляжу выходит из саней казенный стражник, а за ним еще господин неизвестный. Спервоначалу и не разглядел физиономию. Вижу только закутан в люстриновое одеяло и голова обвязана женским платочком. И сразу как подошел ко мне — письмо протягивает.

«Позвольте, говорит, вручить вам почтовое известие. А фамилия у меня Чучуев. И есть я такой же изгнанник и бывший студент».

Обрадовался я, понятно, новому человеку. За ручки его ухватил, чуть на шею не кинулся.

«Входите, говорю, в мой домашний очаг. Милости прошу... Потому от отчаяния к вам отношусь и по сочувствию обстоятельств».

Замечаю — очень даже внушительный человек господин Чучуев. Не старый еще, а уже бороду носит и очки у него на носу. Однако как вошли мы в юрточку, стал он немедленно раздеваться. Одеяльце распутал, а под ним пальтишко порыжелое оказывается. Снял пальтишко — вижу осталась фуфаечка. А под фуфаечкой, как снял он ее, зелененький пиджачек очутился. Только и его сбросил господин Чучуев — в тужурочке серой остался.

«Ну пока, говорит, хватит. Довольно. Чтоб не простудиться на всякий случай. Теперь, говорит, примемся за голову».

Развязал он платочек, а под платочком фуражечка. Повесил фуражечку на гвоздик. И уж здесь, скажу, испугался я не на

путьку. Как снял он, значит, фуражку, вижу вся голова у него бинтами обвязана. Прямо таки лазаретное произведение искусства.

«Что, спрашиваю, никак ранены? Или просто себе разбили голову?».

«Нет, нет — говорит. Это по случаю зуба».

«Ай болит?» — спрашиваю.

«Ну, говорит, уж болеть то ему никак невозможно. Потому это я на всякий случай обвязал голову. В прошлом году как раз в это самое время болели у меня зубы. Вот я на всякий случай и обвязал».

Подивился я, понятно, такому решению. Но как было у меня в руках полученное письмо — любопытство меня охватило и неожиданное желание.

«Простите — говорю. Охота пуще неволи. Тянет меня взглянуть поскорее на сей мемуар».

«Да вы не стесняйтесь — говорит мне господин Чучуев. Будьте себе преспокойно, как дома».

Развернул я письмо. Сразу сообразил — от маменьки. Почерк уж был такой у маменьки отличительный. Вроде заборчика и каждая буква обязательно с хвостиком.

«Сын мой возлюбленный — писала маменька. Очень я по тебе сокрушаюсь и молюсь от утра до самого вечера. А от поклонов земных и небесных шишки у меня со лба никогда и во все не сходят».

Как прочитал я подобные строки, крепко даже, скажу, опечалился. Отвернулся к стенке, скрипнул зубами.

«Эх! — думаю, маменька! Э-эх!» — думаю. И как немного поуспокоился принялся за прежнее чтение.

«У нас в городе — писала маменька — весна началась настоящая. Солнышко светит и даже грязь по колено. А по ночам летят гуси и рвут они мое материнское сердце перелетным своим криком. Только чай пьем мы побольшей части в прикуску по случаю войны и недостатка продуктов. И еще мадам Огуречкина шлет тебе низкие поклоны. А муж ее, Иван Иванович, пропал на войне штгыками. Нельзя ему теперь ни на чем сидеть, кроме как на мягких подушках».

Поразился я, прочитав письмецо. Что за война? — думаю. Какой такой враг объявился против Российской земли? И все у меня мысли насчет турков вертятся. Ишь, думаю, банабаки! И не удержался я, чтоб тут же не спросить господина Чучуева как это, дескать, с войной случилось .

«Да что — говорит. Вторей годок воюем. А боремся мы против немецкого неприятеля и Вильгельма второго».

Свистнул тут я, пораженный открытием. Вот те и на! С

немцами, думаю, шутки плохие... И еще долго мы в тот день рассуждали по поводу разных событий.

Присмотрелся я к новому своему сожителю и решил про себя: крепко образованный человек господин Чучуев. Про все ему ведомо, что ни спросишь. И в чемоданчике, как распаковал он его вечером по отъезде стражника, всякие диковинки оказались. Вынул господин Чучуев, перво-наперво, летнюю шляпу.

«Вот, говорит, индийский шлем в защиту от солнца. Полезная, говорит, штука и лучший предохранитель. На всякий случай возьми ее с собой. А вот это очень замечательная книга. Называется она «как разводить у себя в огороде грибы шампиньоны». Есть, говорит, еще у меня и собственное сочинение. На счет молдованского языка. Только покуда в рукописи и вот уже десять лет готовится к печати».

Умилился я, глядя на собеседника. И здесь же помыслил: каких людей засылают! Можно сказать цвет кабинетов. Погустороннее, можно сказать, образование. И такая меня охватила печаль, такое уныние! Куда это, думаю, идем мы? Откуда выходим? Непроизвольная, думаю, растрата и напрасное обхождение с лучшими типами. А господин Чучуев вынул из чемоданчика карту и разложил ее на столе. Гляжу — якобы океан синее, а посередке вроде острова.

«Что, спрашивает, занятно?».

«Да уж зачем и рассуждать, говорю? И дурню станет ясно — очень вы научный человек выходите. Только, спрашиваю, что-ж это за страна такая?».

«Ну страна, говорит, эта положим, известная. Австралия называется и материк земли. Карту же эту приобрел я тоже случайно у одного учителя детей».

Подивился я на Австралию.

«Прекрасная, говорю, карта и даже мухами мало засижена».

«Да, говорит, вещь занятная».

И стал я с того вечера поучаться у него разным предметам. Как, думаю, не воспользоваться таким стечением обстоятельств? Прямо таки, думаю, удар счастливой судьбы. Потому чувствую — огромные у него знания.

«Я, говорит Чучуев, разным наукам обучался. И почти что во всех университетах. Только еще в Казани не довелось побывать. Средств не хватило на дорогу. Зато, говорит, как ушел я из харьковских медиков, так и потом в Киеве девять месяцев изучал садоводство. А в Одессе тоже самое был философом. И механик я очень хороший, потому в Москве пол года числился».

«Господин Чучуев! — говорю. Уж вы, говорю, пожалуйста и непременно. А уж я вам всегда услужу и с превеликим удо-

вольствием. Когда науку какую будете обдумывать, я вам и место уступлю в юрточке и уголок какой отделю».

«Спасибо, говорит. Вижу теперь, что человек вы хороший. А будем мы изучать камни и минералы».

И действительно — принялись мы тотчас за камушки. Целую кучу нанесли отовсюду и у дверей сложили. Вечерком же за чаем объяснял мне господин Чучуев научные мысли.

«Глядите, говорит, и запоминайте. Ежели камушек мокрый, значит река поблизости протекает, или еще какое-нибудь водяное пространство. И есть еще такой закон, по которому все камни обязательно на землю падают».

Поразился я чрезвычайно, слушая лекцию. Даже не утерпел — утречком сам испробовал. Один камушек бросил, другой — все как есть на землю упали. Действительно, думаю закон природы и очень естественная история. Однако, прекратили мы вскоре занятия по случаю несчастного происшествия. Вышел господин Чучуев как-то ночью на двор по своей надобности и, как шагнул за порог, так внезапно на камни и оступился. Крепко расшиб он себе тогда голову; даже правый глаз повредил и веко для зрения. Всполошился я. Насчет примочки захопотал. А господин Чучуев ручкой за глаз держится.

«Ну, говорит, что совсем ничего. Так ли еще за науку страдают!».

Только все же с тех пор оставили мы совместное обучение. К тому же и времени у меня было мало, почитай, что и вовсе не оставалось. То убираешь юрточку, то обед на двоих готовишь. Господин же Чучуев по большей части обдумывал. В особенности как подошло весеннее время года сильно он стал задумываться и даже совсем примолк. Только один раз объяснил за обедом, что, дескать, книгу задумал.

«Нанишу, говорит, я ее для потомства детей и имя свое прославлю».

Полюбопытствовал я какая мол книга.

«А книга, говорит, будет про тюленью любовь. Я уже давно наблюдаю».

И, как проглянуло солнышко пояснее, стал уходить господин Чучуев из дому почти что на целый день. Раз вот так ушел он, а я за уборку принялся. Постели перетрусил и полы подмет основательно. И еще решил пиджачек господина Чучуева почистить щеткой. Однако, как взял я его в руки, вдруг, замечаю, вещица из кармана выпала. Круглая такая вещица вроде механизма и стрелки как у часов. Поднял я ее, положил на столе с краешку и, можно сказать, совсем позабыл о ее нахождении. Когда ввечеру, как вернулся господин Чучуев с прогулки, обратил он свое внимание и говорит:

«Это, говорит, где же вы такую полезную вещь разыскали?».

«Да у вас же, говорю, в карманчике, в пиджачке». Встрепенулся господин Чучуев, хлопнул себя по лбу рукою.

«Ну же и память у меня дырявая! Сам же купил эту штуку на всякий случай».

И вдруг усмехнулся этак радостно и меня за ручку потряс.

«Знаете ли, говорит, какой вы сюрприз совершили? Ведь теперь конец нашему изгнанию. И надо снаряжаться нам в путь-дорогу обратно».

«То-есть, говорю, каким же это образом ехать обратно? Мне говорю, еще три годика полагается на пребывание».

«Нет, говорит, уж теперь мы повинем сии края и совершим интересный побег».

И стал мне объяснять господин Чучуев, как с этим научным предметом возможно пройти всякие дремучие леса и даже в ночное время.

«Только, говорит, на стрелочку поглядывай себе и больше ничего. Стрелочка, например, в одну сторону показывает — а ты иди как раз обратно. Она тебе все на север — а ты возьми да и поверни на юг».

Ничего я, признаться, не понял тогда из этих объяснений. Почему, думаю, такое непослушание?

Однако, решил положиться на господина Чучуева. Потому уважение я к нему большое имел и веру в научные знания. И стали мы собираться к отъезду. Бывало ночь не спим — все толкуем насчет путешествия. Иной раз задремлешь к утру, а господин Чучуев вдруг начнет будить и даже с постели вскочит.

«Чтоб не забыть, говорит, запишу в книжечку. Сетку надо будет смастерить против кусания насекомых. Тоже самое удочки нам нужны».

И ведь так увлекательно начнет говорить, просто заслушаешься. Все же порешили мы дожидаться зимнего времени, чтоб по снежку сподручней было совершить переход.

Короткое в тех краях лето — можно сказать, и вовсе его не видно. Так чуть-чуть земля оттает, да еще трава кое-где выткнется. Зато как стукнет зима — держится она нерушимо и снегу навалит сверх всякого ожидания. А в тот год зима пришла совершенно внезапно и мороз прихватил еще с середины июля. Даже самоеды и те больше по чумам прятались.

«Теперь пора — сказал мне однажды господин Чучуев. Санички я уже сторговал у самоеда, надо бы еще насчет оленей сообразить».

Пошли мы, понятно, к богатому владельцу.

«Так и так — говорим. Продайте ваше животное. А уж мы за ценой не станем».

Раскрыл господин Чучуев свой чемоданчик — одну за

другой вещицу показывает. Вижу блестят у самоеда глаза — проняло его до нутра изобилие предметов. И как увидел он, между прочим, индийский шлем, сразу решил. Надел его моментально на голову — засмеялся.

«Хорошо» — говорит.

И по юрточке стал расхаживать. Сбежались, конечно, прочие его родичи. Все как есть хвалят вещицу. Головами качают и губами чмокают...

Словом сторговали мы пару оленей в момент.

«Ну, в добрый час — сказал господин Чучуев. С такими зверями быстро совершим путешествие. Лишь бы на стражников где не наехать».

«Так то оно так — говорю. А только надо бы им для аккуратности рога спилить. К чему, говорю, подобные финтифлюшки? Совершенно ненужная декорация и даже опасная панорама».

Согласился со мной господин Чучуев.

«Пилите, говорит: только с осторожностью. Чтоб какнибудь органов им не повредить».

А самоеды, как узнали про наше желание, чрезвычайно обрадовались. Мигом достали подходящий для случая инструмент и уж так постарались — не олени выпли, а телки. Совсем можно сказать обыкновенный молочный скот. Посмотрел господин Чучуев, похвалил работу.

«Только, говорит, рога я возьму на всякий случай с собою. Может когда семьей обзаведусь, квартирой... Вот они то и пригодятся. Вроде украшения будут в домашней жизни».

Уж такой был заботливый человек господин Чучуев — ничего не оставлял без внимания. И как пришел день нашего отъезда, господин Чучуев говорит:

«Придется, говорит нам кой-какие села проехать. Иначе никак нельзя. Потому слева от нас полюс земли находится и пустынная местность».

«А что, говорю, если-б через полюс этот самый перемахнуть. Покрайности никто-б и не заметил».

«Нет, говорит. Этого никак нельзя. Очень там много градусов. К тому же и дороги не совсем подходящие».

И вот на зорьке пустились мы в путь.

Как сейчас помню — выбежала из юрочки собака наша и жалостно прежалостно завывала. Подняла голову в верхние слои атмосферы и залилась как над покойником.

«Цыц!» — крикнул господин Чучуев. И камешком в нее швырнул.

А я так полагаю, что знала она собачьим разумом условия нашей судьбы.

Василий Федоров.

(Продолжение следует)

Попытка комнаты

Стены косности сочтены
До меня. Но — заскок? случайность? —
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь.

Кто же знает, спиной к стене?
Может **быть**, но ведь может **не**

Быть. И не было. Дуло. Но
Не стена за спиной, так?.. Все что
Не угодно. Депеша «Дно»,
Царь отрекся. Не только с почты

Вести. Срочные провода
Отовсюду и отовсюду.

На рояле играл? Сквозит.
Дует. Парусом ходит. Ватой
Пальцы. Лист сонатинный взвиг.
(Не забудь, что тебе девятый).

Для невиданной той стены
Знаю имя: стена спины

За роялем. Еще — столом
Письменным, а еще — прибором

Бритвенным (у стены — прием —
Этой — делаться корридорм

В зеркале. **Перенес** — взглянул.
Пустоты переносный стул).

Стул для всех кому не войти
Дверью, — чуток порог к подошвам!
Та стена из которой ты
Вырос — поторопилась с прошлым —

Между нами еще абзац
Целый. Вырастешь как Данзас —

Сзади.

Ибо Данзасом — **та**,
Званным, избранным, с часом, с весом,
(Знаю имя: стена хребта!)
Входит в комнату — не Дантесом.

Оборот головы. — Готов?
Так и ты через десять строф,

Строк.

Глазная атака в тыл.
Но, оставив разряд заспинный,
Потолок достоверно **был**.
Не упорствую: как в гостиной,

Может-быть и чуть-чуть косил.
(Штыковая атака в тыл —

Сил).

И вот уже мозжечка
Сжим. Как глыба спина расселась.
Та сплошная стена Чека,
Та — рассветов, ну та — расстрелов

Светлых: четче чем на тени
Жестов — в спину из за спины.

То, чего не пойму: расстрел.
Но, оставив разряд застенный,
Потолок достоверно цел
Был (еще вперед — зачем нам

Он). К четвертой стене вернусь:
Та куда, отступая, трус
Оступается.

«Ну, а пол —
Был? На чемнибудь да ведь надо-ж?..».
Был. — Не всем. — На качель, на ствол,
На коня, на канат, на шабаш, —

Выше!..

Всем нам на тем свету
С пустотою срывать пята
Тяготенную.

Пол — для ног.
— Как внедрен человек, как вкраплен! —
Чтоб не капало — потолок.
Помнишь, старая казнь — по капле

В час? Трава не росла бы в дом —
Пол, земля не вошла бы в дом —

Всеми — теми — кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Все, как будто? Теперь — являйся!

Оповестит ли ставнею?
Комната наспех составлена,
Белесоватым по серу —
В черновике набросана.

Не штукатур, не кровельщик —
Сон. На путях беспроволочных

Страж. В пропастях под веками
Некий нашедший некую.

Не поставщик, не мебельщик —
Сон, поголее ревельской
Отмели. Пол без блестяности.
Комната? Просто — плоскости.

Дебаркадер приветливей!
Нечто из геометрии,
Бездны в картонном томике,
Поздно, но полно, понятной.

А фэтонов тормаз то —
Стол? Да ведь локтем кормится
Стол. Разлоктись по склонности,
Будет и стол настольности.

Так же как деток — аисты:
Будет нужда — и явится
Вещь. Не пекись за три версты!
Стул вместе с гостем вырастет.

Все вырастет,
Не ладь, не строй.
Под вывеской
Сказать — какой?

Взаимности.
Лесная глушь
Гостинница
Свиданье Душ.

Дом встречи. Все — разлуки
Те, хоть южным на юг!
Прислуживают — руки?
Нет, то что тише рук,

И легче рук, и чище
Рук. Подновленный хлам
С услугами? Тощица
Оставленная там!

Да, здесь мы недотроги
И в праве. Рук — гонцы,
Рук — мысли, рук — итоги,
Рук — самые концы...

Без судорожных «где ж ты?».
Жду. С тишиной в родстве
Прислуживают — жесты
В Психеином дворце.

Только ветер поэту дорог.
В чем уверена — в корридорах.

Прохождение — вот армий база.
Должно долго идти, чтоб сразу

Середь комнаты, с видом бога-
Лиродержца...
— Стиха дорога!

Ветер ветер, над лбом — как стягом
Подымаемый нашим шагом!

Водворенное «и так дале» —
Корридоры: домашность дали.

С грачьим профилем иноврки
Тихой скоростью даль, по мерке
Детских ног, в дождеватом пруфе
Рифмы милые: грифель — тувель —
Кафель... в павлиноватом шлейфе
Где то башня, зовется Эйфель.

Как река для ребенка — галька,
Дали — долька, не даль — а далька.

В детской памяти струнной, донной
Даль с ручным багажем, даль — бонной...

Не сболтнувшая нам (даль в модах)
Что там тащится на подводах...

Доведенная до пенала...
Корридоры: домов каналы.

Свадьбы, судьбы, события, сроки, —
Корридоры: домов притоки.

В пять утра, с письмецом подметным,
Корридором не только метлы

Ходят. Тмином разит и дерном.
Род занятия? Кор — ри — дорный.

То лишь требуя что смолола
Корридорами — Карманьола!

Кто корридоры строил
(Рыл), знал куда загнуть,
Чтобы дать время крови
За угол завернуть

Сердца — за тот за острый
Угол — громов магнит!
Чтобы сердечный остров
Со всех сторон омыт

Был. Корридор сей создан
Мной — не проси ясней! —
Чтобы дать время мозгу
Оповестить по всей

Линии: от «посадки
Нету» до узловой
Сердца: «Идет! Бросаться —
Жмурься! А нет — долой

С рельс!» Корридор сей создан
Мной, не поэт — спроста!
Чтобы дать время мозгу
Распределить места,

Ибо свиданье — местность,
Роспись — подсчет — чертеж —
Слов, не всегда уместных,
Жестов, погрешных сплошь.

Чтобы любовь в порядке —
Вся, чтоб тебе любя —
Вся, до последней складки —
Губ или платья? Лба.

Платье все оправлять умели!
Корридоры: домов тунели.

Точно старец, ведомый дочерью.
Корридоры: домов ущелья.

Друг, гляди! Как в письме, как в сне том —
Это я на тебя просветом!

В первом сне, когда веки спустишь —
Это я на тебя предчувствьем

Света. В крайнюю точку срока
Это я — световое око.

А потом?
Сон есть: в тон.
Был — под'ем,
Был — наклон

Лба — и лба.
Твой — вперед
Лоб. Груба
Рифма: рот.

Оттого-ль, что не стало стен —
Потолок достоверно крен

Дал. Лишь звательный цвел падеж
В ргах. А пол — достоверно брешь.

А сквозь брешь, зелена как Нил...
Потолок достоверно плыл.

Пол же — что, кроме «провались!»
Полу? Что нам до половиц

Сорных? Мало мела? — Горе!
Весь поэт на одном тирэ

Держится...
Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —

Всеми ангелами.

Марина Цветаева.

St. Gilles-sur-Vie,
6-го июня 1926 г.

Чингиз-Хан с телеграфом

НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО *)

«Государство, основанное на расчете и скрепленное страхом, представляет из себя сооружение и гадкое, и непрочное», — говорит где-то Амиель. С этим нельзя не согласиться вообще и можно это понимать разумом, но кроме этого понимания можно испытывать всем существом своим чувство отвращения и ужаса перед таким сооружением, когда живешь в нем, и вся гадость и непрочность этого сооружения ничем не прикрыты. И это-то самое чувство испытывается теперь в России огромным большинством 150 миллионного народа.

Хорошо, когда гадость и непрочность этого сооружения искусно скрыты от людей словами, укоренившимися в поколениях людей, хитрыми софизмами, — главное, когда люди так заплетены, захвачены в эти сооружения своими личными расчетами тщеславия, корысти, что они не видят уже, не хотят, не могут видеть всего безумия, несправедливости, жестокости этого сооружения и, коснея в своем рабстве, воображают, что все приспособления этого сооружения, — суды, полиция, войска, министерства, главное — парламенты, суть необходимые и благодетельные учреждения, обеспечивающие их безопасность и свободу. Такие люди искренно верят, что они настолько свободны, насколько люди могут быть свободны, и что те учреждения, которые держат их в рабстве, неизбежные условия жизни всех людей, и что если нужно изменять в них что-либо, то только некоторые подробности, в общем же все так, как и должно быть и не может быть иначе. Так не могут не думать и думают англичане, американцы, французы, немцы.

*) Перепечатываем из альманаха «Минувшие Дни», (№ 2, Москва, 1928) неизданную статью Л. Н. Толстого, написанную им в 1908 году.

РЕД.

Но мы, русские, к несчастью, или скорее к счастью, в особенности в настоящее время, как ни стараемся, а не можем думать и чувствовать так. Мы, русские, теперь в огромном большинстве своем, всем существом своим сознаем и чувствуем, что все то государственное устройство, которое держит, угнетает и развращает нас, нам не только не нужно, но есть нечто враждебное, отвратительное и совершенно лишнее, ни на что не нужное.

Для всякого теперь в России не только мало-мальски мыслящего человека, но самого малодумающего, безграмотного человека совершенно ясно, что, кроме всех обычных бед, нарушающих спокойную жизнь человека, он непрестанно испытывает лишения и страдания и находится в совершенно исключительно бедственном положении, причина которого одна — деятельность правительства, которая с самых разных сторон с неумолимой грубостью и жестокостью, без всякой надобности, не переставая, мучает и давит его, если только он сам не поступает в число тех некоторых людей, которые давят всех.

С одной стороны, русский человек нашего времени особенно живо чувствует это давление потому, что правительство, не встречая более препятствий, с полной бесцеремонностью и наглостью давит, душит, убивает, запирает, ссылает всех, держащих не только противиться, но поднимать против него протестующий голос. С другой же стороны, особенно живо чувствует русский люд жестокость, грубость и безудержный деспотизм правительства еще и потому, что в последнее время, поняв возможность более свободной, чем прежняя, жизни, русские люди сознали, хотя отчасти, себя разумными существами, имеющими право руководиться каждое в своей жизни своим разумом и совестью, а не волею случайно попавшего на место властвующего того или другого неизвестного ему человека.

Насколько становилась жестче, грубее, бесконтрольное власть правительства, настолько усиливалось и уяснялось в народе сознание безумия, невозможности продолжения такого состояния. И оба явления: и безудержный деспотизм власти, и сознание незаконности этой власти, усиливаясь с каждым днем и часом, дошли в последнее время до высшей степени. Но, несмотря на ясное сознание большинства народа ненужности и зловредности правительства, народ не может освободиться от него силою, вследствие тех практических приспособлений: железных дорог, телеграфов, скорострельных машин и др., владея которыми правительство может всегда подавлять всякие попытки освобождения, делаемые народом.

Так что в настоящее время русское правительство находится вполне в том положении, о котором с ужасом говорил Герцен. Оно теперь тот самый «Чингиз-Хан с телеграфами», возможность которого так ужасала его. И Чингиз-Хан не только с

телеграфами, но и с конституцией, и с двумя палатами, прессой и политическими партиями.

«Деспотизм? Помилуйте, какой деспотизм, когда у нас две палаты, блоки, партии, фракции, запросы, президиумы, премьер, кулуары, — все, как должно! Какой же деспотизм, когда есть и Хомяков и Маклаков, и ответственный министр! Есть Свод Законов, и суды — и гражданские, и уголовные, и военные, есть цензура, есть церковь — митрополиты, архиереи, есть академии, университеты: какой же деспотизм!».

То, что все это есть только подобие того подобия, которым в Европе обманывают людей, и что в России уже никого, кроме участников, не обманывают в настоящую минуту, — не важно для Чингиз-Хана, в лице русского правительства, так как у него есть другие средства. И он продолжает спокойно делать свое дело, надеясь, что, как это произошло и происходит во всех, так называемых, христианских странах, народ привыкнет, сам втянется и запутается в этих делах, и Чингиз-Хан останется Чингиз-Ханом только не с ордой диких убийц, а с благовоспитанными, учтивыми, чисто-плотными убийцами, которые так сумеют устроить разделение труда, что грабежи, убийства людей будут одно удовольствие и доступны самому утонченному, чувствительному человеку.

Так смертоубийства, называемые казнями, совершаются не просто, а перед каждым таким убийством сходятся люди в мундирах, садятся на кресла и на столе, покрытом сукном, что-то пишут и говорят: и с этой процедурой убивают от трех до семи человек в день.

Нынче, 25 ноября, было 12 явных опубликованных приготовлений к убийствам (приговоров) и пять убийств. И это — в продолжение четырех — пяти лет, или больше. Дамы говорят; «C'est terrible! Je ne puis jamais lire, sans frémir!»¹⁾. Мужчины со свойственным своему полу мужеством и разумностью внушают дамам, что это необходимо для общего блага. В газетах ужасаются на эти продолжающиеся казни. Важные чиновники и члены Думы, заявляя свою либеральность, говорят, что пора бы окончить эту *boucherie*²⁾. Но заведующие этой *boucherie* улыбаются на эту сентиментальность. Они знают, как это неизбежно, необходимо и благотельно. «Погодите, — говорят они, — придет время, и мы перестанем». Но им не за чем переставать — все идет прекрасно и, очень может быть, что идет все так прекрасно только благодаря этим «разумным» мерам. Так зачем же отказываться от них. Так насчет убийств, совершаемых властями.

То же и по отношению к заключению в тюрьмах. Тюрьмы переполнены, недостает места. Мрут от тифов, бегут, бунтуют,

1) «Это ужасно! Я никогда не могу читать без содрогания!».

2) Бойню.

убивают самих себя. По власти знают, что это полезно, по крайней мере уже наверно не вредно, и тоже с известными, приличными делу, сопутствующими разговорами и писаниями сажают все новых и новых узников. «Виноваты ли они или не виноваты, это все равно, — все лучше из'ять из жизни человека, от которого может произойти что-нибудь неприятное. То, что он посидит года два в тюрьме или умрет там, вреда для нас не будет: а не посади его, может быть, он и в самом деле виновен. Всегда лучше переключаться, чем не докланяться».

По тюрьмам, построенным на 70 тысяч, больше сотни тысяч человек. Но и этого мало. Чуть есть указание или кому-нибудь покажется, что есть указание на то, что человек может думать и высказывать то, что думает о действиях правительства, — его схватывают, сажают в тюрьму и даже без всяких приличествующих делу процедур везут в самые далекие, дурные для жизни, места и там бросают с запрещением уходить оттуда. Хотя и трудно понять, для чего это нужно Чингиз-Хану, но очевидно нужно, потому что он старательно делает это, даже тратя большие деньги на эти ссылки. Таких несчастных тоже около 100 тысяч. Люди эти озлобляются, передают свое озлобление тем мирным людям, которые до их появления не думали о правительстве, но Чингиз-Хану до этого дела нет, у него есть телеграфы, телефоны, скорострельные пушки, револьверы и он не интересуется тем, что думают и чувствуют мучимые им люди.

Но это далеко не все. Самое важное продолжает делаться дома в столицах, в больших городах, в печати и, главное, в школах — от высших до низших. Запрещается все, что только может открыть глаза людям, поощряется все то, что может затемнить, ослепить людей: в печати, в школах и, главное, в религии. Казалось бы, нельзя соединить все, что творилось и творится, с исповеданием религии, называемой христианской, еще менее — оправдать все эти злодеяния этой христианской религией; но существует целое сословие людей, которое занято одним этим делом: таким извращением христианства, при котором всевозможные преступления, грабеж (подати, земельная собственность), истязание, даже убийство, казни, войны считались бы свойственными христианам делами. И кажущееся невозможным дело совершается. Совершается то, что вера в учение Христа заменяется кощунственной верой в то, что Христос бог — делатель самых странных и ненужных чудес и что, веруя в этого Христа, надо верить и в чудеса, происходящие от воображаемой царницы небесной, мощей, икон и т. п. Все это передается как священная истина, и, рядом с этим, как столь же священная истина, внушается и рабское подчинение Чингиз-Хану. Совершается этот ужасный обман над взрослыми и с особенным рвением, упорством и наглостью над подрастающим поколением, под

видом обучения вопиющей лжи, называемой законом божьим. На каждом экзамене закона божьего — а через такие экзамены проходят все дети — происходит следующее:

С в я щ е н н и к. Возможно ли убийство в христианском законе?

У ч е н и к. Нет.

С в я щ е н н и к. Всегда не дозволено?

У ч е н и к. Нет, не всегда.

С в я щ е н н и к. Когда же оно дозволено?

У ч е н и к. Дозволено в случае наказания за преступление и для защиты отечества.

И это всегда на всех экзаменах.

И нет ни одного русского грамотного человека во всей империи, который в том возрасте, когда он еще не может рассуждать, не прошел бы через эту клевету на бога, на Христа, на разум человеческий. И Чингиз-Хан, в лице «просвещенного» правительства, дает награбленные с народа деньги на народные школы, должествующие распространять такое чингиз-ханское просвещение.

Так телесно и духовно угнетался и угнетается русский народ. «Чингиз-Хан с телеграфами» был спокоен и надеялся, что теперь, когда есть конституция, и Хомяков, и Маклаков, и Президиумы, и правые, и левые, и середина, и Гучков, и духовенство, и союзы русского народа, и пресса, и школы, и что, если не жалеть награбленных денег на шпионов, и на тюрьмы, суды и виселицы для взрослых, и на преподавание, распространение и поддержание клеветы на христианское учение под названием закона божьего для детей, то все будет итти по-старому, и различие Чингиз-Хана с телеграфами от прежнего будет только в том, что новый Чингиз-Хан — теперешнее правительство — будет еще могущественнее старого.

Но, к несчастью Чингиз-Хана и к счастью русского народа, Чингиз-Хан ошибся.

Оттого ли, что слишком глупы или грубы были слуги нового Чингиз-Хана и их дела; оттого ли, что в своих насилиях они перешли тот предел, дальше которого люди не могут переносить свое порабощение и издевательство над их разумом; оттого ли, что железные дороги, телеграфы, пресса и проч., с одной стороны, предоставляя могущественное орудие в руки Чингиз-Хана, с другой стороны, соединяют людей в одном и том же сознании; оттого ли, что русскому народу, большинству, настоящему крестьянскому народу, не развращенному еще школами, свойственно понимание христианского учения в его истинном значении, признающем равенство и братство людей, не допускающее не только убийства, но и насилия друг над другом, или еще от чего, но несомненно одно то, что в настоящее время русский на-

род, настоящий русский народ, вследствие совершенных и совершаемых над ним преступлений, потерял не только уважение к своему правительству, но и веру в необходимость какого бы то ни было правительства и что скоро окажется, что он не может уже быть принужден повиноваться существующему правительству и участвовать в мерзких делах его.

Недавний проезд царя на юг со всеми сопутствовавшими ему отвратительными подробностями был, как мне кажется, очевидным подтверждением этого. Этот проезд везде, где он происходил, вызвал одно и то же чувство — сознание очевидной ненужности царя и всех его помощников.

Едет царь, тот человек, который стоит во главе правительства, о котором предполагается, что он признается всем народом своим владыкой, — что он тот человек, который своей властью может облагодетельствовать и отдельные лица, и общества людей, и целые сословия, — что это лицо — священное для всех людей русского народа. Кроме того, предполагается, что этому человеку для себя ничего не нужно и что он стоит выше всяких желаний и страхов. Казалось бы, что к такому лицу, как это и было прежде, во времена Николая I, может быть только одно чувство: желание видеть, желание просить тех или иных благодетельств, желание выражения своей благоговеющей преданности и любви, и что роль всех, окружающих царя, только одна — удерживать в пределах порядка восторженную толпу, стремящуюся к этому предмету своего благоговеющего поклонения. Так это должно быть, с точки зрения самодержавия, так это и было когда-то. И что же теперь? Едет царь с своими помощниками, приближенными ему людьми, исполнителями его воли, — и все они, зная, что в народе, которым они властвуют и среди которого им нужно проехать, тысячи, десятки тысяч людей, ненавидящих царя и их и всячески старающихся убить их, — люди эти, в ограждении себя и царя от этой ненависти, устраивают на всем протяжении тех мест, по которым они проезжают, тройные, четверные ряды тайных и явных охранителей. Едет царь по своему царству, и три линии солдат, полиции, наряженных крестьян, бесплатно оторванных от своих работ, стоят день, два, неделю, другую, ругая виновника их положения, ожидая проезда. День проезда умышленно не определяется для того, чтобы желающие убить царя не могли знать, когда он проедет. Для этой цели едет не один царский поезд, а несколько, так что никто не может знать, какой настоящий. И вот, наконец, украдкой, как беглец и преступник, пролетает этот человек между трех рядов охраны. Никто не видит его, кроме для приличия представляющихся ему в городах, где он останавливается, чиновников и важных лиц, при тех же предосторожностях охраняющих его от покушений на его жизнь, за которую всегда и везде не могут не бояться.

Едь предполагается, что молчаливым согласием народ признает необходимость и благодетельность власти. Если же оказывается, что эта царская власть поставила себя в такое положение к народу, что не смеет уже показаться ему, а прячется от него и пробегает мимо него, как вор от тех, кого он обворовывал, так зачем же эта власть? Зачем она, если положение этой власти поддерживается уже не признанием народа ее необходимости, а насилем, ружьями и пашками, а сама власть прячется от народа?

Вот это-то становилось все более и более ясно и теперь стало уже совершенно ясно огромному большинству народа. На что же царь, коли он прячется? А если прячется, то верно не даром, а значит чувствует, что ему нельзя не прятаться после того, что он делает или делал. Так думает огромное большинство. Не говоря уже о всех вешаемых, заключенных, сосланных, из которых большая доля невинных, — а их десятки тысяч, и у всех их так же, как у всех убитых есть отцы, матери, братья, сестры, жены, друзья, которые не могут не ненавидеть виновника и виновников их горя, — но не говоря об этих сотнях, тысячах людей, имеющих такие естественные причины для ненависти к царю и его помощникам, главная масса народа — крестьяне, все крестьяне, за исключением малого числа загнивших и загнивающих людей, — все крестьяне, доведенные теперь лишением земли до положения худшего, чем то, в котором они были 50 лет тому назад, — крестьяне, ожидавшие освобождения от своего земельного рабства, худшего теперь, чем рабство крепостное, — не могут не смотреть все больше и больше на царя, виновника этой созданной им несправедливости, с такими же самыми недобрыми, враждебными чувствами, как и те чувства, которые питают к царю и его помощникам все десятки или сотни тысяч непосредственно пострадавших и страдающих от их жестокостей. Крестьяне знают, что все попытки освобождения их от земельного рабства, все всегда разбивались о закоснелость царского правительства, которое, как будто в насмешку над их законными требованиями, дало им закон 9 ноября, вносящий еще только новое зло в их отчаянное положение. И потому нельзя царю и его помощникам не бояться ненавидящих правительство крестьян, не бояться их доходящего до ненависти раздражения за неслышанное их страдание и за неисправление той возмутительной неправды, от которой они страдают.

Правда, есть у несчастного царя люди, которые уверяют его в преданности к нему всего народа, в твердости той веры в бога и рядом в царя, которая когда-то была в народе. Но люди эти — разные патриотические союзы русского народа и т. п. — сами не верят тому, в чем они уверяют царя, своей наглой ложью только отводят ему глаза от его действительного положе-

ния. Так что, веря им, несчастный царь, продолжая свою грубую деятельность, этой самой деятельностью насилия разрушает в конце последние основы, на которых могла бы держаться его власть.

Сознание ненужной, бессмысленной и вредной царской власти становится теперь более или менее очевидным огромному большинству народа. Трудно предвидеть, какие будут последствия этого сознания, но последствия эти, и непременно губительные для правительства, не могут не быть.

Может быть, — как это ни мало вероятно, но все-таки может быть — то, что власть, пользуясь своими внешними материальными средствами, продержится еще некоторое время. Может быть и то, что опять вспыхнет революция, которая опять будет подавлена, так как средства борющихся слишком неравномерны. Но в обоих случаях неизбежно будет то, что сознание ненужности и преступности правительства будет делаться все яснее и яснее людям русского народа и сделается, наконец, то, что огромное большинство людей не будет уже в состоянии, — не в виду каких-либо внешних целей, а только потому, что это будет мучительно их нравственному сознанию, — не будет уже в состоянии повиноваться правительству, исполнять те его безнравственные требования, которыми оно держится. А как только это будет, как только (прекратится) соединение людей, отстаивающих свое положение рядом не переставших преступлений, — так неизбежно прекратится повиновение такой власти и то участие в деятельности правительства, которое одно поддерживает его.

«От меня требуют участия в делах правительства, — скажет себе освободившийся от правительственного обмана человек (а освобождение это совершается теперь в тысячах и тысячах людей), — требуют от меня участия в делах административных, судебных, педагогических, полицейских; требуют моего участия в военной службе; но зачем же я буду делать все это, когда я знаю, что все эти дела лишают меня и моего достоинства, и моей свободы, главное же, делают меня участником в делах, противных и здравому смыслу и требованиям самой первобытной нравственности?».

Так что для людей, понявших то, что повиновением власти они сами порабащают себя, лишают себя самых первых и духовных благ, отношение к власти может быть только одно — такое, при котором человек на все предъявляемые к нему требования правительства всегда отвечает только одно: «Со мной, — отвечает такой человек, — можете, пока сила в ваших руках, делать, что хотите: запереть, сослать, казнить. Я знаю, что не могу противиться вам и не буду, но знаю и то, что не могу и буду участвовать во всех дурных делах ваших, чем бы вы ни оправдывали, ни прикрывали их и чем бы ни угрожали мне».

Такое отношение к тому, что называется русским правительством, уже живет теперь в сознание большинства русских людей, а продолжись еще некоторое время безумная, бесчеловечная и грубо жестокая деятельность этого правительства, и то, что теперь только в сознании, неизбежно перейдет и в дело.

А перейдет это сознание в дело, т.-е. перестанет большинство людей, повинаясь правительству, участвовать в его преступлениях, и само собою без борьбы падет то ужасное, отжившее русское правительственное устройство, существование которого уже давно не соответствует нравственным требованиям людей нашего мира.

6 декабря 1909 г.

2-ое Января

5 Поля гладкие, Элисейские,
Те-что лава моторных глаз;
Закрути фонари и вейся снег,
Как в Москве на Тверской у нас.

И на памятник, на тропический
Сквозь белесый строй фонарей
Ты проспект дуг огней мифических
Механический ток пролей.

Пластом тонким сперва, крупичатым,
На просвет лоснит гладью грунт:
И кружение и парение вдруг птичье,
Густохлопия снежный бунт.

Полированность, ту асфальтную
Всю покрыл ее пухом снег;
И моторов басы и альты
Изрыгают гудками гнев.

И на мягком ходу, бесшумные
Лоснят лаком своих боков
Многосильные, многосумные
Самокатности кузовов...

.....
Не сметенных куч к тротуарам горб
Не рассыпанного хруст песка,
(Пропади ты прочь! сгинь слащавья скорбь!
Презираемая мной — тоска).

Не лохматый конь, мерин сивый наш,
Не как перцем день весь насквозь прожжен —
— А разляпано в небе курсивом сплошь
Peugeot... Peugeot... Peugeot.

Владислав Иванов.

Париж.

Месяц „соглашательства“

В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
«Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та-ж , моя страна,
В красе заплаканной и древней.

«Коршун».

А. Блок.

В двух номерах газеты «Возрождение»¹⁾ Б. К. Зайцев написал коротенькие воспоминания о «Веселых днях» в Москве 1921 г., в том числе и о покойном Комитете Помощи Голодающим, членом которого он состоял. Дни эти были действительно «веселые»: миллионы людей истощенной войной и революцией страны встали перед угрозой голодной смерти... На этом веселом фоне и возник Комитет, — сенсационное предприятие, как назвала его тогда французская газета «Матэн», — предприятие, не успевшее много сделать для своей непосредственной цели, но за то очень много сделавшее для окончательного осознания политической обстановки того времени. И не только того времени. Поступок членов Комитета и до сих пор вызывает споры, суждения и осуждения в интеллигентской среде: *политическая* сторона действий Комитета выходит далеко за рамки единовременной акции и касается тактики в эпоху большевицкой диктатуры также и в других областях жизни. Так, недавнее «соглашение» деятелей церкви почти в точности повторяет такти-

¹⁾ №№ 971 и 985.

ку Комитета; можно указать аналогичные соглашения в области научной работы, кооперации и т. д. Б. К. Зайцев, — беллетрист-художник — коснулся в своих воспоминаниях лишь стороны лирически-бытовой и моральной. Политическая сущность Комитета оставлена им в стороне. Между тем давно пора описать это явление так, *«как оно было»*, и в особенности в главной части его, политической. Пользуясь любезным разрешением редакции «Воли России», я и постараюсь сделать это, насколько позволит мне память и далеко неполный материал, которым я располагаю. Сделать это тем более необходимо, что инициаторы этого деяния, поучившись уму-разуму от зарубежных противников такой тактики, — так и остались нераскаянными грешниками: солидных аргументов в пользу другой тактики и другого вида «активизма» они здесь не услышали. И остались при убеждении: *тогдашнее* расположение сил диктовало или эту тактику или никакую, т. е. сидение в созерцательном бездействии...

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Нельзя понять ни действий Комитета, ни психологии его участников, ни, наконец, причины гибели этого начинания и едва не случившейся гибели его инициаторов, не остановившись хотя бы в самых кратких чертах на положении интеллигенции после октябрьского переворота, на ее тактике и на взаимоотношениях с властью. Только на фоне этих взаимоотношений и можно понять, почему Комитет явился такой «сенсацией».

Совершенно бесспорным является утверждение, что ни октябрьского переворота, ни советской власти интеллигенция духовно не признала и не приняла. Это утверждение повторяется гениальными историками-коммунистами, и политиками советской власти, — как факт, не подлежащий спору. Вопрос об интеллигенции и ее отношении к советской власти и «до сих пор остается довольно жгучим», писал Луначарский в 1923 г.²⁾ Менее жгучим не стал он и в 1928 г., хотя — на поверхности — как будто многое сглажено, многое пережито, многое приведено к какому-то соглашению. Тем не менее вопрос и до сих пор не потерял своей жгучести, и Луначарский дает в своих очерках исчерпывающее объяснение, — в чем суть этой жгучести. «Интеллигенция, пишет он, нужна нам, — нужна нам в области техники, сельского хозяйства, в области просвещения, главным образом она нужна нам, как главный контингент, так сказать, государственной агентуры; она нужна нам, и очень, — в области искусства,

²⁾ А. В. Луначарский, Об интеллигенции, 1923 г.

которое в лучшей своей части есть облагораживающий души элемент, благоприятный коммунизму, а также сила, облагораживающая быт. Интеллигенция нужна нам, *а между тем в большей своей части она все еще находится на разных ступенях враждебности к нам.* Тем более драгоценны для нас те, которые целиком перешли к нам или находятся на пути. Тем более важно употребить нам все усилия, чтобы собрать возможно большие силы вокруг новой оси мира — коммунизма³⁾). Интеллигенция нужна советской власти исключительно как *техническая* сила, — как часть коммунистической машины, без присущих ей духовных особенностей, без индивидуального лица. Рядом с рельсами коммунизма *никакие другие рельсы жизни не могут быть проложены.* И когда Устрялов и Ко заговорили о «перерождении власти», другой коммунист М. Н. Покровский, им ответил: «Перерождают революционную власть нелепо и ничего из этого не выйдет: *гораздо легче переродиться самим*»⁴⁾). Из заявлений Луначарского о продолжающейся враждебности «большой части» интеллигенции легко понять, что в отношениях двух сторон коса нашла на камень: если не может переродиться революционная власть, то тем более не может «переродиться» интеллигенция, самое существо которой противоречит воззрению на нее как на *«технический инструмент»*, как на бездушную и послушную часть машины.

⁴Интеллигенция отлично знала, какая участь грозит ей в случае перехода всего государственного аппарата в руки коммунистов: их воззрения были известны задолго до Октября. И в качестве средства самозащиты она избрала единственный метод действий, находившийся в ее руках: забастовку всех государственных аппаратов, приостановку всех функций государства. Напрасно думают некоторые, что забастовку кто-то организовал. Она вспыхнула совершенно стихийно. Организована была — значительно позже — лишь помощь бастовавшим в лице забастовочных комитетов, собиравших средства. Через четыре месяца силы обеих сторон были взвешены: пришлось сдаться интеллигенции. Сдаться физически, т. е. встать на работу. Духовно интеллигенция не разоружилась и продолжала оставаться «посторонним телом» во вновь строящемся государственном организме. Не разоружалась и власть. Две силы, физическая и духовная, стояли друг против друга, *вынужденные в то-же время силою вещей вести один и тот-же воз, — поднимать страну из под обломков революционного разрушения.* Эта последняя задача, даже разно понимаемая, все же требовала близкого сопри-

³⁾ Стр. 19.

⁴⁾ М. Н. Покровский. «Кающаяся интеллигенция», сборник статей. Интеллигенция и революция, стр. 83.

косновения обеих враждебных сторон. Это соприкосновение происходило, происходит и теперь, по двум резко разграниченным линиям: *по пути соглашения и по пути соглашательства*. Соглашение, стовор, вовсе не требует от вступающего в него отказа от самого себя. Соглашение требует лишь определенности в условиях взаимоотношений и работы. В той-же брошюре об интеллигенции Луначарский отмечает, что «технический персонал и техническая профессура легче идет на стовор с советской властью, чем другие части интеллигенции». Это естественно: фабрика, завод, трамвай или железная дорога «по марксистски» работают также, как и по «монархически»: у них свой строй, обязательный для всякого политического строя. Но профессору политической экономии или истории уже гораздо труднее идти на стовор, а то и совсем невозможно: он должен сначала изменить свое научное мировоззрение, а затем уже стовариваться о кафедре. Здесь соглашение неизбежно должно упереться в угодничество, в соглашательство, в потерю своей научной совести, как это мы и видим у таких новоявленных коммунистов, как проф. Гредескул. К чести русской интеллигенции следует сказать, что таких перекрасившихся соглашателей нашлось немного: по исчислению проф. М. Н. Покровского не найдется и десятка профессоров, «усвоивших» марксистское мировоззрение на науку. А коммунистическое — тем более.

Чем больше укреплялась советская власть, тем большая часть интеллигенции шла по пути соглашения. Советская власть, сосредоточившая в своих руках все производство, торговлю, все функции государства и жизни, лишив граждан — почти полностью — частной инициативы и частной предприимчивости, — явилась вследствие этого своеобразным работодателем, соглашание с которым почти что принудительно. Или соглашайся, или умри. Так стоял вопрос. Пока была надежда на краткий срок «пролетарской диктатуры», интеллигенция мстила за эту принудительность саботажем в работе, резким подчеркиванием *чужести* своей всей этой постройке. С течением времени вредность подобного поведения обнаруживалась все ясней и отчетливей: *советский аппарат совпадал с государственным аппаратом*. Хорош он или дурен этот советский аппарат, — другого нет пока. Через этот аппарат восстанавливается жизнь страны и благополучие граждан. Саботаж, поэтому, бьет не только по советской власти, но и по всей жизни государства. Эта мысль все более и более пронизывала мировоззрение интеллигенции. Ликвидация военных фронтов и частичная ликвидация военного коммунизма с об'явлением нэпа сделали это мировоззрение господствующим. К июлю 1921 г., — времени действия Комитета, — лишь единицы вставали на путь «соглашательства», т. е. отказа от своих убеждений и лица и принятия коммунистической окра-

ски. Но вся интеллигенция уже шла по пути соглашений на почве *деловой* работы в советском аппарате. Таково было положение.

Совсем иначе обстояло дело в области политической. К 1921 г. было совершенно ясно, что победившая на всех фронтах партия добровольно, без какого либо принуждения, от монополии управления не откажется и диктатуры своей не ослабит. Вероятно, именно этим сознанием обуславливалось то обстоятельство, что и попыток к такому соглашению не делалось. Лишь левые эс-эры в самом начале диктатуры вступили в соглашение, входили в Совнарком и разделяли политическую ответственность с коммунистами. Однако, страны и тем более интеллигенции это соглашение касалось мало. М. Н. Покровский оценивает его совершенно правильно: «социальный удельный вес этих групп (меньшевиков-интернационалистов и левых эсеров), говорит он⁵⁾, несомненно был страшно переоценен. На выборах в Учредительное Собрание по Москве они все вместе получили 8% всех поданных голосов: реальной силой было именно *правое* крыло соглашателей⁶⁾, в конечном счете и давшее Учредительному Собранию большинство». Но правые эс-эры — за исключением отдельных лиц, впадавших путем писем в редакцию в коммунистическое умонастроение — политических переговоров о соглашении никогда не вели. Таким образом *политически* диктатура большевиков (как и всякая диктатура) оставалась изолированной. Но в то-же время, — опять таки как и всякая диктатура, — советская власть вынуждена искать опоры вне круга компартии: Россия слишком обширна, слишком далека от коммунизма, чтобы в ней лишь силами одной партии могла вестись постройка аппарата государства. И в недрах самой власти все время борются два течения. Одно, чисто коммунистическое, узко-партийное, враждебное всяким соглашениям; другое — «советское», рожденное необходимостью строить не коммунистический, а советский, т. е. государственный аппарат. В конечном счете судьба самой советской власти зависит от того, победит-ли в ней «советское» течение, произойдет ли — другими словами — резкое разделение власти, управляющей государством и компартией, управляющей лишь своими членами. До сих пор такого разделения не произошло, хотя в заявлениях Чичерина этот мотив — о раздельной природе двух сил, компартии и советской власти, и утверждается постоянно в нотах, обращенных к иностранцам. Русские граждане, напротив, отлично знают, что такого разделения еще не произошло и что какое-бы то ни было политиче-

⁵⁾ Красный Архив, том 4-ый, 1927.

⁶⁾ «Соглашателями» Покровский называет правых эс-эров, стоявших в то время за конструкцию власти путем соглашения всех социалистических элементов.

ское соглашение с советской властью есть в то же время и соглашение с компартией, есть апробация действий не только советской власти, но и компартии. В 1920-21 гг. понимание этого положения было тем острее, что в то время все еще было пропитано духом волевого коммунизма и усилиями компартии сделать коммунизм официальной религией российского государства. Психология наиболее сознательной интеллигенции была в то время такова, что всякое *политическое* соглашение с коммунистической властью было бы сочтено предательством интересов России, страдающей под игмом страшного эксперимента. Пишущей эти строки пришлось воочию столкнуться с этой психологией по следующему поводу. В октябре 1920 г. ко мне обратился А. М. Горький с предложением собрать представителей старой русской общественности для разговора с покойным Лениным. А. М. Горький сообщил мне, что он лишь передает желание Ленина. Горький просил дать ответ на следующий-же день, — сообщить, кто именно будет разговаривать. Тотчас-же были собраны три больших собрания с представителями различных течений — партийных и не партийных — интеллигенции. Ответ получился исключительно единодушный. Лишь два лица — кооператор А. М. Беркенгейм и левый эс-эр С. Л. Маслов — высказались за необходимость такого разговора. Все остальные были против. Мотив: «мы, интеллигенция, — пленники диктатуры; у нас нет ни печати, ни обществ, ни открытых собраний, ни вообще каких бы то ни было средств для выражения своих мнений и проверки их удельного веса в населении. А потому мы, связанные и молчащие, не можем представлять интереса и для представителя советской власти. И при таком положении интеллигенции, отчетливо сознающей свое настоящее бессилие, — совершенно бесполезны какие бы то ни было разговоры с лицами, это положение ее создавшими и поддерживающими».

Это коллективное мнение было сообщено тогда А. М. Горькому для передачи Ленину. Так как оно было выражено совершенно откровенно, то многие ждали за такую дерзость — нежелание разговаривать с всемогущим красным диктатором — репрессий. Их не последовало, хотя о собраниях и о составе их не могли не знать.

К весне 1921 г. положение несколько изменилось.

15-го марта этого года был объявлен нэп. По обычной склонности россиян к «бессмысленным мечтаниям» за этим экономическим отступлением ждали перемен и в области общественно-политической. Отчасти эти перемены и наступили. Наркомзем повестками пригласил так называемых «старых кооператоров» на особое заседание для обсуждения положения кооперации. Опять зашевелились: идти или не идти? На этот раз кооператоры единогласно решили: идти. Это собрание прошло дружно и

общественно-корректно, если не считать грубого и глупого выступления коммуниста Сосновского (неизвестно каким боком к кооперации принадлежащего). Все другие коммунисты, особенно представители Наркомзема, ничем не нарушили делового характера собрания, результатом которого была впоследствии выработка декрета о кооперации, значительно раскрепостившего ее работу.

Следующий шаг «навстречу общественности» был менее удачен. Ленин снова повторил свое желание встретиться с старыми общественниками на этот раз не через А. М. Горького, а через В. М. Свердлова. Свердлов предложил устроить банкет (апрель 1921 г.), на котором собрались бы с одной стороны представители русской интеллигенции, с другой — представители советской власти. Предполагалось, что на этом банкете выступит Ленин или его заместитель. Так же, как и А. М. Горький, Свердлов просил дать ответ. И на этот раз обсуждение вопроса о банкете, о встрече привело к иному решению: не только левые общественники, но и представители к-д. партии решили, что банкет — после знаменитой речи Ленина 15-го марта — вполне своевременен. В этом смысле и дан был ответ Свердлову. Дан был список участников банкета. Банкет, однако, не состоялся... Со стороны общественников потребовалось действие, на которое они не согласились. По предложению и плану того же В. М. Свердлова в Политехническом музее должно было состояться открытое собрание, на котором должны были выступить коммунисты с объяснением причин, побудивших их к «передышке», — к введению нэпа, и общественники, «горячо приветствующие это изменение политики». Было совершенно ясно, что это выступление инсценируется «для Европы» и что радио разнесет весть, такие то приветствуют политику советской власти. В сущности, к 1921 г. настроение многих общественников было таково, что они не затруднились бы приветствовать советскую власть за правильные шаги в ее общей политике. Затрудняло не «приветствие», а его необоснованность, — это заверение в том, что еще не получило осуществления и что должно было осуществляться опять таки руками одних коммунистов. С этим «заверением» перед Европой дело обстоит плохо и до сих пор. Выделилось несколько имен из деятелей науки (их можно перечесть по пальцам), из области хозяйства, заверяющих Европу и русское население в благополучии русской науки, для которой «так много сделал Ленин и советская власть», — в успехах хозяйства, кооперации или земледелия. И все отлично знают, что не надо читать подписей под такого рода рекламными: они подписаны неизменно или академиком Ольденбургом, или Ферстманом или проф. Ипатьевым и еще пятью шестью именами этого рода. Новых имен не появляется и до сих пор, — так прочно установи-

лись отношения между хозяевами жизни и гражданами второго сорта, — интеллигентами... Попытка советской власти установить режим старо-крепостной эпохи, — мы даем вам работу и жизнь, а вы должны это помнить и ценить, — не привели к цели: работу интеллигенция соглашается выполнять честно, без саботажа первых лет, — но душу свою не выварачивает, не оскверняет лестью и не свидетельствует по приказу о том, о чем свидетельствовать не хочет и не может. Вот и тогда, в апреле 1921 г., будущие участники банкета отказались свидетельствовать о ценности еще не испытанного нэпа и о движении советской власти по пути раскрепощения жизни. А ведь только это свидетельство и могло бы быть ценно для Европы, ждущей завершения гражданской войны на русской территории и в отношениях власти к населению. Свидетельствовать отказались, а советская власть отказалась от банкета: какой смысл разговора с людьми, не признающими формулы: мы — ваши, а вы — наши?

Таковы были психологические настроения интеллигенции к июлю 1921 г. Среди нее были, конечно, группы людей, совершенно «непримиримых», считающих всякое прикосновение к советской власти или ее аппарату нарушением святости интеллигентского *credo*. Таких непримиримых было немного: редкие люди имели возможность — физическую даже возможность — «не прикасаться» к советской власти, не служить, не входить с ней ни в какие деловые отношения. Таких счастливых, живших в каких-то своих скитах или вотчинах было немного. Но немного было и «соглашателей», стремившихся так «приспособить» свое поведение, чтобы «заслужить» доверие хозяина и ассимилироваться с его агентами во всех областях. Громадное большинство интеллигенции на это не пошло; оно осталось на позиции соглашения двух сторон на узко-деловой почве. Такая позиция невыгодна обеим сторонам и указывает на глубокую болезнь всей жизни страны: власть не находит искренней и добровольной поддержки интеллигенции в своей политике, что, несомненно, умаляет ее внутренний и в особенности международный престиж, а интеллигенция чувствует себя по-прежнему пленником во вражеском лагере и потому не может развернуть всех своих духовных возможностей.

В такой обстановке и при таком расположении сил пришлось действовать Комитету в 1921 г. Эта обстановка определила его строение, она-же обусловила и его быструю гибель. Естественно возникает вопрос: но разве деятели Комитета были в 1921 г. столь наивны, что этой обстановки не осознавали? Или наивность их заходила еще дальше и они — перед лицом всенародного бедствия — надеялись на *перерождение* советской власти? На эти вопросы следует ответить совершенно определенно

но: нет, такой наивности ни у кого из членов Комитета не было. А почему они все же взялись за это дело и как оно развивалось конкретно — речь впереди.

ИДЕЯ КОМИТЕТА

В конце июня 1921 г. в Москву приехали из Саратова проф. А. А. Рыбников и кооператор М. И. Куховаренко. Достаточно было один раз поговорить с ним, чтобы почувствовать весь ужас надвинувшегося на восток России колоссального народного бедствия. Многие из старых общественников еще помнили такие же ужасы 1891 г. и сами участвовали в смягчении их. Но тогда ведь вся остальная Россия была еще крепка и достаточно богата, чтобы своими силами помочь выжженным солнцем голодным районам. В 1921 г. бедствие было тем безысходнее, что и вся остальная Россия была на краю голода. Это обстоятельство имело для инициаторов Комитета решающее значение: *было совершенно очевидно, что помощь может прийти лишь извне, из-заграницы.* Было ясно и другое: на зов самой советской власти за граница не откликнется, — блокада советской страны тогда еще не сдана была в архив. Все поэтому чувствовали, что что-то надо сделать именно общественникам, людям, которым поверят, голос которых услышат. Сделать, — но что? Что могут сделать все эти люди, резко отодвинутые от всякого общественного дела, запуганные террором, разочарованные неудачами революции и подавленные своей собственной беспомощностью? Надо было — как всегда — думать коллективно.

Полуживое «Московское Общество Сельского Хозяйства» собрало собрание для заслушания докладов двух посланцев Саратова, — Рыбникова и Куховаренко. Зал Общества на Смоленском бульваре был переполнен. Профессора, агрономы, кооператоры, учителя. А с кафедры льется раздирающее душу повествование. Еще не пришло время жатвы, а голод уже развернулся во всей своей потрясающей беспощадности. Жатвы ждать нечего: все выжжено... Запасов — никаких. Голодные люди уже сейчас, в июне, разбегаются из деревень. Привозят в Саратов детей и бросают их у порога детских домов. Кормить нечем. Но и Саратову кормить их также нечем. Катастрофа — миллионов. Тоже самое в Самарской, Казанской, Симбирской губерниях. Пожар голода загорелся сразу во всем обширном восточном районе. Бедствие имеет тенденцию распространиться на юго-восток и на юг. И оттуда — страшные вести...

Точно молотом ударили эти ораторы по сердцам собравшихся. Тишина — мертвая... На лица — лучше не смотреть. Найдут-ли исход? Вот заговорил председатель Общества А. И. Угри-

мов. Предлагает организовать при Обществе Сель-Хозяйства Комитет Помощи Голодающим. «Что-же сможет сделать этот Комитет?» спрашивают мои соседи. Ведь и само то Общество еще существует каким-то чудом. А где средства?

Ко мне подошел страшно бледный муж мой, С. Н. Прокопович. «Выслушать вот это и разойтись мы не можем, сказал он мне. Но и действовать старыми общественными методами при такой катастрофе — это значит играть в бирюльки. Единственное средство — призвать на помощь за границу. А для этого...».

Я так и не дослушала, что надо сделать для этого: председатель вызывал мужа на кафедру. Речь его поразила интеллигентское собрание. . .

— Господа! Нужно или сложить руки и отойти в сторону: не мы, дескать, причина этой катастрофы и мы вообще отстранены от всех и всяких дел. Я другого мнения. Сложить руки мы не имеем права. Морального права. Надо действовать. А если действовать, то нельзя отвернуться от той обстановки, в которой эти действия мы должны совершать. *Мы не можем совершать никаких действий без согласия советской власти, без ее одобрения, без ее содействия.* Играть в бирюльки в такой момент просто позорно. Надо довести до сведения советской власти о том, что мы сегодня слышали и о том, что мы желаем по мере наших сил принять участие в помощи голодающим. А затем уже выработать формы этого участия. Другого пути нет. И я предлагаю избрать немедленно депутацию для посылки ее в Кремль, к председателю Совета Народных Комиссаров...».

В собрании не нашлось никого, кто бы возразил против такого метода действий. Хулители такого «соглашательства» объявились уже потом, в процессе действия Комитета... Сидевший рядом со мной бывший товарищ министра царского правительства В. И. Ковалевский, меланхолично заметил:

— Конечно, другого пути нет... И хорошо, что министр свергнутого большевиками Временного Правительства призывает к этому: личные счеты партий и лиц в такие тяжкие времена только еще больше углубят наше несчастье...

«Углублять несчастье» политическими счетами с большевиками не захотело и собрание. Тотчас-же была избрана депутация из представителей О-ва Сел.-Хоз. и двух докладчиков. Она должна была на другой-же день отправиться в Кремль для беседы с Лениным. С этого момента интеллигентская Москва стала буквально лихорадочно следить за развитием начатого дела. Толки, разговоры, споры, непрерывные телефонные звонки: не знаете-ли, принята депутация? Вчерашнее мертвое и подавленное безмолвие сменялось оживлением, предвкушением возможности какого-то нужного дела...

На другой день стало известно, что Ленин депутацию не при-

нял. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров объяснил почему: это дело, так сказать, «не подсудно» председателю; надо обратиться в соответствующий комиссариат, в данном случае в Наркомзем. Депутация отправилась туда, — к тогдашнему наркому земледелия Теодоровичу. Не была принята и там. Под разными предлогами свидание откладывалось. Саратовские депутаты волновались: уехать ни с чем в голодный район они не могли. А между тем депутация — совершенно основательно — была оскорблена таким отношением. О собрании в Кремле не могли не знать, о цели депутации — также. Почему не желают говорить? Более или менее близкие к коммунистам люди говорили: в Кремле — большая растерянность, — у них также есть свои сведения о катастрофе на востоке; идут совещания; решений еще никаких не принято; а коммунисты без коллективного решения не совершают никаких сепаратных поступков. Надо выждать... Такие разговоры, быть-может, инспирированные, шли по городу.

Мы решили узнать из непосредственного источника, — в чем дело. Я и муж мой отправились к А. М. Горькому с тем, чтобы просить его снестись с Лениным. Изложив ему все дело и все наши предположения, мы указали, какое тяжкое впечатление произвел в городе отказ от разговора с депутацией.

— Не понимаю, — почему так, сказал он. Идея Комитета — идея ценная и в Кремле не могут отнестись к ней отрицательно. Я буду говорить с Ильичем и о результате сообщу вам. Повторяю, — отрицательного отношения к такой идее в Кремле не может быть: несчастье надвигается и люди это не могут не понимать...

На другой-же день Горький сообщил нам, что Ленин горячо сочувствует инициативе общественников и что весь вопрос в форме и в договоре о действиях. Об этом и будут с нами говорить. Кто — он не сказал.

Весь этот день у нас ушел на переговоры с различными кругами интеллигенции, — чтобы заранее знать, кто на такое дело пойдет. Случилось как-то так, что в этот день мы не получили ни одного отрицательного отзыва. Были скептики: на это дело Кремль не согласится. Но не было таких, которые считали бы этот ход неправильным или предосудительным с точки зрения общественно-политической. Как и на собрании Сел.-Хоз. Общества люди понимали, что момент — исключительный; исключительны должны быть и наши решения, и наши действия.

В 10 час. вечера в тот-же день в нашу квартиру позвонили.

— Кто у телефона?

— Лев Борисович Каменев. Я должен сообщить вам, Екатерина Дмитриевна, что идея Комитета встречает сочувствие. Не

согласитесь ли вы и другие общественники пожаловать в Кремль для переговоров?

— Вы, Лев Борисович, привыкли действовать коллективно. Позвольте и нам действовать также. Я и муж мой соберем собрание из лиц, желающих принять участие в этом деле. Собрание изберет несколько человек и поручит им вести переговоры. Определит и форму возможного построения Комитета.

— Хорошо. Пусть будет так. В какой срок можете вы собрать собрание?

Условились о дне и часе переговоров в Кремле.

На другой же день было собрано собрание из 40-50 чел. Была, конечно, на нем и избранная Об-вом С.-Хоз. депутация. На этом собрании было решено, что Комитет должен быть *самостоятельным учреждением*, которое начнет свои действия лишь выработав *положение о своей конструкции, утвержденное в законодательном порядке, т. е. путем особого декрета*. Основы положения также вчерне были выработаны. Избраны были и лица, которым поручено было вести переговоры и докладывать о них вновь собранному собранию. Для переговоров с Кремлем были избраны: агроном А. П. Левицкий, кооператор П. А. Садытин, покойный проф. Л. А. Тарасевич и я. Кроме того решено было просить А. М. Горького присутствовать при переговорах в качестве будущего члена Комитета. Он согласился.

В назначенный день и час вся депутация была у ворот Кремля. Обыкновенно неприступные, с латышско-русской охраной, требующей пропуска и документов, — на этот раз ворота растворились быстро: охрана была предупреждена и вежливо пропустила нас, указав, как пройти к «товарищу Каменеву».

Уютный, чистый кабинет человека, прочно устроившегося. По делам Лиги Спасения Детей мне приходилось бывать тоже в Кремлевских аппаратах Луначарского и в разных советских учреждениях. Всегда они оставляли впечатление какой-то непорядливости: точно люди собрались переезжать или переехали, но еще не устроились. Кабинет Каменева дышал спокойствием, сознанием прочности положения своего хозяина. Удобный «буржуазный» диван, кресла, шкафы для книг, обширная библиотека. Все солидно, чисто, ничто не носит следов той бедной полупустой квартирki, в которой мне когда то пришлось быть у Каменевых в Аркашоне.

На диване уже сидел А. М. Горький. За все время переговоров он не проронил ни слова. С любопытством бытописателя наблюдал он сцену объяснения всеильного диктатора с недостреленными «контр-революционерами», говорящими в этом «новом мире» какие-то старорежимные слова... А слова, действительно, были старорежимные:

— О конституции Комитета...

Посланцы настаивали на издании особого декрета, который перечислял бы точно права и обязанности новой организации в недрах советского строя.

— Вы еще так верите в конституцию? иронически спросил Каменев.

— Верим попрежнему, если договаривающиеся стороны способны и желают выполнить условия договора... Но сейчас, в наших условиях, речь идет не о ценности конституции... Речь идет о чисто практическом деле, которое может быть сделано лишь тогда, когда обе стороны поймут, что надо делать. Верите ли вы, Лев Борисович, что разразившейся катастрофе можно помочь внутри-русскими средствами?

— Нет, не верю, серьезно ответил Каменев.

— Так вот наша «конституция» исходит именно из этого факта. Помочь может лишь заграница. Отношение заграницы к советской власти вы знаете. Помощь не притечет: будут думать, что помогают вам, Красной армии, но не голодающим. Нужна какая-то гарантия. Вот мы и предлагаем дать возможность старым общественникам эту гарантию дать... Ведь, старая общественность потому и «общественность», что она ни на какие фальшивые сделки не пойдет... И это зарубежом знают...

Так говорили посланцы.

— Итак, вы настаиваете на декрете? Кто выработает этот декрет?

— Мы...

— С нашего согласия, конечно?

— Ну, конечно...

— Хорошо, я доложу Совнаркому и извещу вас.

Простились, ушли. События развивались с быстротой чисто большевицкой. На другой-же день Каменев сообщил, что Совнарком согласен издать положение о Комитете и просил представить текст его.

Тогда началась лихорадочная работа уже в недрах общественности. Работа и... пытка.

В НЕДРАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Пока шли переговоры с Кремлем, в Москве только и разговоров было, что о Комитете. «Общественность» за это время развернула все свои фланги. Их было несколько. В центре встали люди, которых не надо было ни звать, ни раз'яснять им идею Комитета: люди, сразу решившие, что дело это они должны делать. Затем два фланга. Один — колеблющийся. Итти или не итти? Были старые общественники, по три или даже по четыре раза записывающиеся в Комитет. Запишется, — позвонит:

«Я выхожу». «Пожалуйста». Снова звонит: «Я передумал. Запишите меня». «Пожалуйста», и т. д. На этих людей было жалко смотреть: и хочется, и страх берет... Чего боялись? Двух вещей: «мнения непримиримых» и «подлости большевиков». Некоторые приходили и спрашивали в упор: «А прирожденную подлость большевиков вы учитываете?». «Да учитываем». Другие приходили на собрания, обрабатывавшие текст декрета и раздражались филиппиками на «соглашательство», грозили «анафемой будущей России» и т. д. Особенно памятен мне один из этих грозных обличителей... Не хочется называть его имени... Он говорил, что мы «порочим общественность», что мы «навсегда стираем ее имя» и т. д. В Комитет он не вошел. А когда уже весь Комитет сидел в тюрьме и некоторые члены его были под угрозой смерти, этот моралист подарил большевикам свое имя и свое участие в деле, дававшем им и гарантию, и укрепление... Буквально, мы баямаков не успели износить... А его имя уже красовалось, как имя «незаменимого спеца»... Это был самый неприятный тип людей. Центр постановил: *никого не уговаривать* и включать в список лишь тех, которые без всяких уговоров понимают необходимость этого дела. В самом деле: не маленькие... Должны-же знать, на что идут и как «порочат» свое имя...

А потом был фланг, особенно старавшийся именно об этом: чтобы русская общественность не «опорочила» своего имени. Этот фланг развил широкую агитацию против дела Комитета. Во главе агитации были С. П. Мельгунов и В. А. Мякотин. Нам особенно важно было притянуть к делу деятелей кооперации. Это была тогда все еще живая сила, активная и в деревнях, и в провинциальных городах. Центр ее, Московский Народный Банк и прилегающие к нему организации сразу-же вошли активными членами Комитета. В других организациях кооперации вел агитацию В. А. Мякотин все на ту-же тему: не итти, не «пачкаться»... В некоторых организациях промысловой кооперации имел успех: выносили постановления: не итти.

В нашей квартире происходили почти непрерывные заседания. На некоторых бывало человек по 70. В одно из таких заседаний как грозный вихрь ворвался С. П. Мельгунов: пришел обличать. Я его встретила, увела в отдельную комнату и просила его не заботиться о потибших, об отпетых людях: они уже утратили всякое представление о морали и уговаривать их бесполезно... Что-же касается его волнения, то оно по меньшей мере беспредметно: никто из членов Комитета не обращался к нему с просьбой об участии... Чего-же волноваться? Такие, как он, и охраняют «общественность» от упреков в «надении»...

Да, это была пытка... Пытка главным образом потому, что в этих заботах об охране «чести общественности» совершенно

уплывал из поля зрения основной вопрос: ну, да, честь, честь... А как же помощь голодающим? Умыть руки?

Любопытно в этом смысле настроение покойного Н. Н. Кутлера. Мы его привлекли в Комитет в очень тяжелый для него личный момент: он только что отсидел, кажется, год в большевицкой тюрьме, был очень подавлен, нервен и болен физически. Подняв свои умные, много видевшие глаза, он внимательно слушал нашу речь об идее Комитета. Затем задумался, молчал.

— Это дело необходимо делать, решил, наконец, он, и я согласен встать на самое ответственное место.

— Вы верите, Николай Николаевич, что нам удастся его сделать?

— Ни одной минуты... Не верю... Кое-что, конечно, мы сделаем. *Крикнем «караул» для заграницы.* Это все, что мы можем сделать. Наша роль — маленькая. Но она и большая — по смыслу и ходу событий. Иначе поступать нельзя. Я подумал: или сложить руки, или итти. Надо итти... А что касается упреков в «соглашательстве», то предложите этим господам поскорее сменить советскую власть... Это их успокоит; ну, а мы, грешные, будем делать дело с той властью, которая сейчас есть, и которую сменить мы не в силах... Чего-же трепать язык?

Ник. Ник. был затем самым аккуратным членом президиума Комитета, вникавшим в каждую мелочь, не пропустившим ни одного собрания, подававшим советы всегда прямые, умные и непосредственно деловые. Я понимаю, почему именно этот замученный человек понадобился затем большевикам, когда они признали, наконец, необходимость «буржуазной денежной системы» и упорядочили советский бюджет.

Еще следует упомянуть о партиях...

Я не знаю, были-ли какие-либо заседания центрального комитета ка-де партии. Но виднейшие ее члены вошли без разговоров в Комитет. Популярный в Москве бывший член Временного Правительства К. М. Кишкин стал душою Комитета, членом его президиума и заместителем председателя. Столь-же активную роль играл покойный Ф. А. Головин, М. М. Щепкин, П. А. Садырин, Н. Н. Кутлер и др. Партии с.-р. и с.-д. в общем Комитету сочувствовали. Но пред'явили требование: включить в число членов Комитета членов центрального комитета. На это Комитет ответил, что члены его принимаются персонально, что Комитет — учреждение не политическое и партийных кандидатур ставить не может. Тогда было отпечатано постановление с.-д. комитета: в центр не входить, но во всех провинциальных отделах Комитета — в особенности в голодных районах — принимать самое деятельное участие. Это постановление было принято Комитетом, как «содружественное» и в той или иной мере делу его содействующее.

Таково было отношение различных оттенков общественности. Но самым характерным было отношение обывателя. Опубликованный в «Известиях» декрет о Комитете поразил всех буквально как громом. Светопредставление. «Они, значит, издыхают». «Не иначе, как конец». Об этих обывательских умозаключениях, безусловно имевших значение для гибели Комитета, можно было-бы рассказать не мало интересного. В провинции говорили совершенно открыто и прямо: им конец, организуется новое правительство. Т. е. думали как раз обратное тому, что думали близко стоявшие к делу люди, — сами члены Комитета...

ДЕКРЕТ

Переговоры между будущими членами Комитета и Кремлем носили самый спешный и оживленный характер. Самая «конституция» была выработана нами. Кремль внес в нее лишь небольшие поправки. Одна поправка очень характерна. В нашем тексте стоял параграф: «Комитет издает свой орган печати». Кремль ни за что не хотел пропустить этот пункт в этой редакции. Его редакция: «Комитет издает свой бюллетень». Обяснение:

— Помилуйте... Ваш пункт это что-то от свободы печати... Тогда и все захотят... А бюллетень — это суше, это — деловое...

Мы чуть не целый день потратили на эти переговоры. Кремль был непреклонен. «Орган печати» — это что-то от «свободы». А бюллетень — суше, деловитей... Наконец, члены Комитета уступили: пусть будет бюллетень. Тогда встал один из членом и заявил:

— Комитет слишком мягкотел... Я уйду...

— Уходите, ответили ему.

Этот член стал впоследствии весьма видным директором большевицкого треста.

Второй пункт, также вызвавший длинные переговоры, — это: состоит-ли Комитет лишь из одних «общественников» или же могут войти в него и коммунисты? После обмена мнениями постановлено: могут входить и коммунисты, но число общественников должно всегда превышать число коммунистов.

Все пункты обсуждены. Декрет в окончательной редакции сдан в Совнарком. Ждем решения. Составлен и именной список Комитета в числе 63 лиц.

21 июля 1921 г. утром в «Известиях» мы прочли два документа: «Декрет Всероссийского Центрального Комитета о «Всероссийском Комитете Помощи Голодающим» и «Положение о «Всероссийском Комитете Помощи Голодающим». Мы позволим себе привести полностью оба документа. Тогда, в 1921 г., советские газеты еще не приходили так аккуратно в редакции зару-

бежных газет и текст обоих документов этой своеобразной «конституции» вряд-ли многим известен.

ДЕКРЕТ:

«После семи лет непрерывной борьбы, внешней и внутренней, подточившей основы хозяйственной жизни страны, — республику постигло тягчайшее стихийное бедствие, неурожай, охвативший ряд наиболее хлебородных губерний. Населению постигнутого неурожаем района грозит голод со всеми ужасающими последствиями. Справиться с этим новым бедствием может лишь объединенная, согласованная и напряженная работа всех сил народа. В виду этого Всер. Центр. Испол. Комитет постановляет:

1. Учредить Всероссийский Комитет помощи голодающим в целях борьбы с голодом и другими последствиями неурожая.

2. Комитету присваивается знак Красного Креста, каковой обозначается на его печати.

3. Для достижения целей, указанных в §1, Комитету предоставляется: а) приобретать в России и заграницей продовольствие, фураж, медикаменты и другие предметы, необходимые для голодающего населения. б) распределять материальный фонд Комитета среди нуждающегося населения, пострадавшего от неурожая. в) пользоваться внеочередностью перевозок своих грузов, а также иметь и использовать свои перевозочные средства. г) устраивать все необходимое для питания голодающих, д) оказывать агрономическую помощь в пострадавших местах, е) оказывать медицинскую помощь, ж) устраивать общественные работы для населения голодающих мест, з) собирать пожертвования и вообще принимать другие меры, необходимые для достижения поставленных Комитетом целей.

4. Для проведения работ на местах Комитет в праве организовать местные комитеты помощи голодающим, открывать на местах отделения.

5. Для привлечения помощи и средств из-за границы Комитет в праве открывать там свои отделения, содействовать образованию заграничных Комитетов помощи голодающим России и командировать за границу своих уполномоченных. Комитету принадлежит право беспрепятственного сношения с названными органами и уполномоченными его заграницей.

6. Комитету предоставляется право обсуждать те мероприятия центральных и местных властей, которые он признает имеющими отношение к делу борьбы с неурожаем и голодом, и входить с подлежащими органами в сношения о согласовании упомянутых мероприятий с его планами. Все учреждения республики, как в центре, так и на местах, обязаны оказывать полное содействие Комитету.

7. Комитет имеет свой бюллетень, посвященный вопросам, связанным с деятельностью Комитета, издает брошюры и плакаты, созывает совещания для обсуждения вопросов помощи голодающим.

8. Комитет пользуется всеми правами юридического лица и может на законном основании совершать сделки и договоры, приобретать имущество, искать и отвечать на суде.

9. Средства Комитета составляют: а) из пожертвований, б) из натуральных фондов и денежных сумм, предоставляемых Комитету государством.

10. Деятельность Комитета не подлежит ревизии Рабоче-Крестьянской Инспекции. Отчет о деятельности и отчет в израсходованных суммах Комитет представляет во ВЦИК и публикует во всеобщее сведение.

11. Первоначальный состав Комитета с Председателем его и заместителем утверждается постановлением ВЦИК'а. Дальнейшее избрание членов принадлежит самому Комитету.

12 Комитет действует и организуется на основании положения, утвержденного ВЦИК'ом.

Предс. В. Ц. И. К. — М. Калинин.

Секретарь В. Ц. И. К. — А. Енукидзе

Москва, Кремль, 21 июля 1921 г.

Второй документ:

Положение о «Всероссийском Комитете Помощи Голодающим».

На основании декрета о Всер. Ком. Пом. Гол., утверждается следующий состав Комитета:

1) Авсаркисов М. П., 2) Бирюков П. И., 3) Булгаков В. Ф., 4) проф. Велихов П. А., 5) Гуревич (Смирнов) Э. Л., 6) Горький А. М., 7) Головин Ф. А., 8) проф. Дживелегов А. К., 9) проф. Диатропов П. Н., 10) проф. Дояренко А. Г., 11) Емшанов А. И., 12) Зайцев Б. К., 13) Каменев Л. Б., 14) презид. Акад. Наук Карпинский А. П., 15) Красин Л. Б., 16) Кишкин Н. М., 17) Классен К. Ф. 18) проф. Кондратьев Н. Д., 19) Коробов Д. С., 20) Академик Курнаков Н. И., 21) Кускова Е. Д., 22) Кутлер Н. Н., 23) Куховаренко М. И., 24) Левицкий А. П., 25) Луначарский А. В., 26) Левицкий В. А., 27) Литвинов М. М., 28) Президент Академии матер. культуры Мар Н. Я., 29) Матвеев И. П., 30) Нольде А. А., 31) Академик Ольденбург С. Ф., 32) Пауфлер Н. Е., 33) проф. Прокопович С. Н., 34) Родионов Н. С., 35) Рыков А. И., 36) проф. Розанов В. Н., 37) проф. Рыбников А. А., 38) Семашко Н. А., 39) Садырин П. А., 40) Смидович П. Г., 41) Сабашников М. В., 42) Свидаевский А. И., 43) Саламатов П. Т., 44) Смирнов Н. Е., 45) Станиславский К. С., 46) вице-презид. Академии Наук Стеклов В. А., 47) Теодорович И. А., 48) проф. Тарасевич Л. А., 49) Тейтель А. В., 50) Толстая А. Л., 51) Угримов А. И., 52) Академик Ферстман А. Е., 53) Фигнер В. Н., 54) Фрезе П. Ф., 55) проф. Чайнов А. В., 56) Черкасов И. А., 57) Шляпников А. Г., 58) проф. Шапошни-

ков Н. Н., 59) Шер В. В., 60) Шепкин М. М., 61) проф. Ясинский В. И., 62) Южин (Сумбатов) А. И., 63) Эфрос А. М.

Комитет открывает свои действия со дня первого собрания Комитета.

Далее в положении указывается конструкция органов Комитета — общие собрания, комиссии и т. д. В этом положении интересны пункты IX и X: IX) Местные комитеты помощи голодающим, а также комитеты заграничные, возникают с утверждения всероссийского комитета и действуют на основании положений, издаваемых последним. Пункт X: Дальнейшая организация всероссийского комитета помощи голодающим и определение распорядка его работ определяются наказом и инструкциями, утверждаемыми общим собранием.

Это «Положение о Комитете», также как и декрет, подписано Калининным и Енукидзе.

Опубликование декрета и положения произвело огромное впечатление. На местах это опубликование вызвало немедленную организацию местных комитетов. Люди организовывали их, не дожидаясь сигнала из центра. Такова была потребность в каком то действии, проявлении воли к жизни перед лицом великого несчастья. Страна зашевелилась и готова была к работе на почве самоорганизации: *тогда* диктатура не вытравивала еще окончательно старые навыки. Хотелось-бы верить, что не вытравлены они и теперь...

Это были светлые минуты недолгой жизни Комитета. Но, почти одновременно с его рождением за спиной его выступила и стала настойчиво продвигаться вперед — зловещая тень... Кажется, на третий или на пятый день после опубликования декрета мне позвонил человек, входящий в Кремль. Так как разговор происходил ультра-дискретно, — не буду называть его имени.

— Мне нужно спешно видеть вас.

— Пожалуйста, приходите.

Пришел, стал оглядываться: нет-ли кого...

— Говорите спокойно, здесь мы одни.

— Видите-ли... Случайно мне пришлось узнать из самого достоверного источника, что Комитету грозит величайшая опасность...

— Но Комитету всего несколько дней жизни. Разве он успел в чем-либо проявить себя преступно?

— Дело совсем не в преступлении...

— В чем-же дело?

— Дело в декрете. Этот декрет противоречит всему советскому строю...

— Зачем-же на него согласились?

— Его дал Кремль... Но кроме Кремля есть еще Лубянка.

Лубянка заявляет прямо и определенно: мы не позволим этому учреждению жить...

— Вы это слышали сами?

— Да. Я слышан сам.

— Зачем вы это мне сообщаете? Вы думаете, что Комитет должен сейчас-же покончить самоубийством?

— Нет, конечно. Это невозможно, это было бы трусостью. Но вы и другие члены-инициаторы должны быть сугубо осторожны: повторяю, опасность велика...

— Благодарю вас за сообщение. Но я должна сказать, что эту опасность мы чувствуем с первой минуты зарождения идеи Комитета...

Когда затем эта «опасность» разразилась и мы попали в тюрьму, а после пребывания во Внутренней тюрьме Лубянки были перевезены на некоторое время в Бутырскую тюрьму, там в «Моке» и «Жоке» (мужские и женские одиночные камеры) пришлось сидеть с социалистами. Мой муж сидел с Гоцем, Тимофеевым, Донским, Лихачем, Даном, Николаевским, Альтовским и другими виднейшими членами центральных комитетов обеих партий. Мужская камера (да и женская также) встретила вновь прибывших членов Комитета *как давно жданных гостей*, а Гоц сказал:

— Знаете, мы ведь, здесь получаем газеты в день их выхода. Так вот, как только мы прочли декрет и положение о Комитете, я сказал товарищам: товарищи! Надо готовить камеры для инициаторов этого дела...

Гоц оказался в высшей степени проницательным и мало доверчивым к качествам коммунистической диктатуры даже в такой тяжкий для страны момент, как голод миллионов людей. Но Комитету предстояло все-же жить и действовать. Лубянка протерпела эту занозу в теле советского строя целых 5 недель. За эти пять недель мы все время видели эту ужасную тень Лубянки. Но видели и другое. То другое, что могло бы искупить всякое страдание в будущем: мы видели *живую* страну... Ведь, в этом «оживлении» и была главная опасность. Мы почувствовали биение пульса *в общественном теле* приникшей страны. В «красе ее заплаканной и древней» было много такого, что запомнилось на всю жизнь.

Как же мы жили эти пять недель?

Е. Кускова.

(Продолжение следует).

Политические заметки

О РЕВОЛЮЦИИ, РЕАКЦИИ И МЕТАИСТОРИИ

Было время — не так давно, — когда в левых кругах эмиграции считалось недопустимым говорить о Феврале и Октябре, как о двух этапах, по существу *единой*, революции.

В такой оценке немедленно усматривали или скрытое «большевизанство» (нелепое русско-французское слово, почему-то упорно держащееся в эмигрантской публицистике) или монархическую клевету на Февраль.

Кроме того, не только правые, но и очень многие «мартовские» (и даже до-мартовские) революционеры видели в большевиках силу *чуждую России*, каких-то своеобразных внутренне-внешних завоевателей, внезапно вынырнувших из подполья и захвативших власть с помощью китайцев, латышей и венгерцев, при тайной поддержке германского генерального штаба.

Это упрощенное понимание трагических событий истекшего десятилетия постепенно выветривается.

Первоначальная яркая и безапелляционная формула гласила: *большевизм это контр-революция*, ибо в октябре он сверг революционную власть, а в январе разогнал революционное народное Собрание; *большевизм — это реакция*, ибо он упразднил политическую свободу, всеобщее, тайное, равное и прямое избирательное право и ответственность правительства.

Эта, чисто формальная точка зрения упускала из виду, во-первых, разницу социального содержания революции и контр-революции, забывала, во-вторых, что *революция* тем именно и отличается от «мирного» времени, что в ней враждующие силы (классы, партии, в том числе и *революционные*), сталкиваются в непосредственной уличной борьбе, «захватывают» и «свергают», и что до тех пор, пока длится революционный процесс, пока не заложены и не укреплены основы народовластия, неизбежны применение физической силы и ограничения свобод.

«Революционность» той или другой из борющихся за власть политических группировок определяется не только преследуемой ею общественно-политической целью, но и умением пользоваться для ее достижения революционными средствами, — теми, которые объективно даются развертывающимся ходом революции.

Теперь от приведенной выше формулировки остается, повидимому, лишь одно бесспорное положение, согласно которому революционная большевицкая диктатура, превращенная в политическую систему, создает условия, благоприятные для роста реакционных и контр-революционных настроений и прививает новым поколениям догматическую неподвижность мысли, а утопическая попытка революционными средствами переделать мелкокрестьянскую страну в промышленно-социалистическое, руководимое пролетариатом, государство, задержала и даже повернула назад хозяйственное развитие, рост производительных сил.

Но это — возможные, уже теперь намечающиеся, отчасти уже кристаллизующиеся, но далеко не окончательные *результаты, последствия революции*. Их все-таки следует отличать от самого *революционного процесса*, в который большевизм — и как стихийное явление, и как волевая, организующая сила — входит составным элементом.

Если продумать до конца вышеприведенное упрощенное положение и сделать из него все выводы, то получится, что основная, стихийная сила, взорвавшая старое государство, старый помещичий и полицейский строй, — стихия мужицкого гнева, о которой пророчески писал Толстой после 1905 года, и крестьянская тяга к земле была *силой реакционной*.

Так и говорят эмигрантские певцы помещичьего землевладения.

Те же мотивы можно найти и у Горького.

Но ведь без этой основной силы, созданной вековым угнетением, безобразный режим дворянско-полицейского самодержавия, живой анахронизм, загромождавший все пути культурного, хозяйственного, нравственного развития громадного большинства населения, этот реакционнейший из всех режимов, оставался бы и до сих пор целехонек.

Я только что сказал, что старая упрощенная формула выветривается. Но вот, А. Ф. Керенский, в «Днях», до сих пор настаивает на том, что большевицкий режим — «жесточайшая реакция» и контр-революция, ибо «нам всегда казалось, что степень реакционности режима определяется степенью *не свободы* человеческой личности».

Он обрушивается на меньшевика Далина за то, что тот считает определение большевицкой власти, как контр-революции, лишь «очень удобной, очень выгодной, выигрышной агитационной фразой» и предлагает более точное определение ее, как

«дряхлающей революционной диктатуры», политика которой «стоит в противоречии с изменившейся силой и потребностями разных классов России».

Спору нет — большевицкий политический режим копирует многие из приемов управления самодержавия и буржуазных диктатур (на это указывает и Далин), а большевицкая идеология, большевицкие методы общественного воспитания пропитаны тем же реакционным духом *не свободы*, который господствует в церкви.

Но нельзя, все-таки, заниматься в политике игрой словами. Желание во что бы то ни стало назвать большевизм «контр-революцией» (не только в виде образа, или по аналогии, а по существу) вытекает из ошибочного представления, что в революции все — добро, а все зло целиком в контр-революции.

Между тем и революция может ошибаться. Она может, в силу всевозможных причин, внешних и внутренних (в том числе и вследствие ошибок, неподготовленности и т. д. своих вождей), отклониться от своего естественного пути, «перехватить через край», пытаясь осуществить больше, чем ей отмерено историей и объективными условиями, предвосхищая далекое будущее, или принижая это будущее к уровню настоящего, извращая его.

Возможно и обратное: оживление исторических атавизмов, пробуждение древней стихии бунта, старинных раздоров, мести, затаенно в течение веков, как принято теперь выражаться (простые слова теперь, очевидно, менее понятны эмигрантскому читателю), возможны «взлеты», «падения» и «срывы».

Революция может, наконец, вырождаться и выродиться, в конце концов, в «бонапартизм».

Поэтому вполне возможна, как это ни кажется, повидимому, странным А. Ф. Керенскому, *борьба революционеров между собой*, — борьба различных революционных групп, классов, идей, партий, организаций и лиц.

Возможна борьба, ожесточенная и, к несчастью, иногда кровопролитная, внутри одного и того же революционного класса.

Разумеется, если признавать революцией лишь такой переворот (или попытку переворота), который полностью отвечает нашему субъективному представлению о желательной ей цели, или, как выражается М. В. Вишняк, («Современ. Записки», кн. XXXI) об ее «метаисторической сущности», то все остальные этапы и зигзаги революционного процесса будут одинаково «контр-революционными».

Так и смотрят на дело большевики, для которых революция целиком и исключительно воплощается в мероприятиях советской власти, причем даже все самые «левые» коммунистические «уклоны» от той линии, которую в данный момент проводит правящая группа, об'являются «контр-революционными».

Я же, говоря здесь о революции, имею в виду *весь процесс* перехода от государственного и общественного строя, свергнутого народным восстанием, к новому государственному и общественному строю, более или менее отвечающему, как тем политическим идеалам, которые руководят восставшими, освобожденными от старого политического гнета, и пробужденными революционным кризисом массами, так и новому соотношению общественных сил. . .

Этот процесс может быть чрезвычайно кратким, сравнительно легкой «хирургической операцией», почти бескровным переворотом, или же длительным и болезненным.

Он может также закончиться победой контр-революции, т. е. сил, враждебных той исторической цели, которую объективно стремится осуществить революция. При этом контр-революция может принять форму *рестаурации*, т. е. полного или частичного восстановления старого режима, или политической и социальной *реакции* («бонапартизм»), т. е. опять таки попятного движения, но при господстве одной из выдвинутых и освобожденных революцией общественных групп, экономически мощной, опирающейся на утомленные, напуганные революционными эксцессами слои населения и для закрепления нового социального неравенства подавляющей силой всякое движение «низших», слабейших и немощных, упраздняющей или ограничивающей завоеванные свободы во имя «порядка» и мирного обогащения нового привилегированного класса.

Разумеется, тут нельзя обойтись без известной субъективной оценки.

Представители консервативной буржуазии или либералы резко враждебного социализму толка могут считать, если им угодно, «бонапартизм» подлинной целью революции, ее лучшим завоеванием и наиболее прогрессивной государственной формой.

Ведь и Муссолини считает фашистский переворот революцией, и фашизм — революционной партией.

Но, исходя во всем своем рассуждении из социалистической и последовательно демократической точки зрения, я считаю доказанным (по крайней мере для тех, кто эту исходную точку зрения разделяет), что объективный смысл исторического развития и сознательная цель наших усилий заключается в постепенном освобождении всех слоев человечества от политического и экономического гнета, в поднятии «низших», немощных, экономически подавленных слоев на высшую ступень, в осуществлении максимально-го равенства и свободы.

Поэтому для нас «бонапартизм» есть «реакция», хотя он и утверждается на развалинах старого строя и знаменует приход к власти новых, *вышедших из революции* «людей порядка».

Но контр-революционный исход революции, разумеется, не обязателен.

До тех пор, пока не победила реставрация, или пока рост реакционных настроений не привел к «бонапартизму», у борющихся *революционных* групп есть надежда на победу их политических идеалов.

Весь вопрос заключается в том, какая из этих групп, кто из возможных вождей революции наиболее верно определил исторический смысл совершающегося переворота, кто выдвинул *созвучную движущим силам революции и практически осуществимую* программу преобразований и, вместе с тем, обнаружил способность *правильно и быстро ориентироваться в обстановке революции, пользоваться революционными методами*, особой стратегией и тактикой революционного времени.

Несчастье русской революции заключалось в том, что ни одна из руководящих активных сил революции не обладала этими обоими данными, вместе и одновременно.

Партия социалистов-революционеров, выдвинутая всей предыдущей историей на самый ответственный пост, в общем, имела правильное представление об историческом смысле революции, об ее движущих силах, о границах возможных преобразований, но она не сумела создать революционную власть, использовать и дисциплинировать громадную силу народной революционной страсти и действовать «по законам революционного времени».

Большевики показали себя, наоборот, весьма недурными революционными стратегами и тактиками, обнаружили в революционных условиях большое политическое искусство, но поставив его на службу утопической, неосуществимой (в данный исторический момент) цели, привели к террору и к хозяйственному параличу, а затем, после нэпа, — к нелепому режиму вырождающейся коммунистической диктатуры, находящейся в резком противоречии с медленным, но верным, процессом хозяйственного и всяческого оживления страны.

Сторонники той точки зрения, что большевики — контр-революция, а революция — это только коалиционное временное правительство, охотно возлагают на Ленина, демагогию и «шкурничество», всю ответственность за разрушения и бедствия истекшего десятилетия.

Между тем Ленин совершил, собственно говоря, в *хозяйственной* области ту же основную ошибку, которую «революционная демократия» в февральский период совершила в области *политической и государственной*.

Эсеры и меньшевики непонятным образом внезапно уверовали в «бескровное» рождение из развалин старого режима идеальной политической и земельной демократии.

Они вообразили, что выведенные из равновесия революцией

общественные классы добровольно придут к соглашению и построят государство соответственно резолюциям комитетов и съездов, или послушавшись призывов временного правительства.

Большевики же сумели создать крепкую государственную власть, но вообразили, что достаточно изгнать капиталистов для того, чтобы, по декрету диктаторов, возник из развалин капитализма социалистический хозяйственный строй.

По их мнению, достаточно было устранить физических носителей экономического гнета и уничтожить все средства, которыми они пользовались для влияния на массы, чтобы пролетариат, а за ним и весь народ, сумел построить общество, основанное на солидарности, равенстве и свободе.

*

**

М. В. Вишняк, стремясь обосновать положение о контр-революционности (или не-революционности?) большевицкого периода революции, пытается дать свое определение революции вообще. Рассматривая и отвергая по очереди определения, данные другими авторами — историками и юристами, — он приходит к выводу, что революция лишь тогда революция, когда она «национальна».

«Политические и социальные интересы и цели, — говорит он, — питают революцию, «стимулируют» ее, но не определяют. Классы вкладываются в революцию, но *творят и осваивают ее нации*». («Совр. Записки», XXI, стр. 323).

И дальше: — «конститутивный признак революции — ее *всенародность*».

Революция, по его мнению, тем «больше, чем сильнее отдельные индивиды, группы, классы... пронизаны интересами *сверхличного, трансцендентного целого*».

Отсюда им выводится разница между «февралем» и «октябрем».

«В феврале действовал народ, наличествовала *национальная стихия* и потому тогда была революция. В октябре действовал Ц. К. партия большевиков, революционный комитет, военная организация, Викжель и т. п., и потому тогда было восстание, закончившееся победой, но не сделавшееся от этого революцией».

А еще дальше делается довольно неожиданное открытие, что подлинный смысл русской революции это — *рождение русской нации*. — *Метаисторическая сущность февраля — Россия, преобразенная февралем в нацию*... Февраль это — «момент рождения русской нации... момент осознания эмпирическими русскими массами своего национального бытия». (Стр. 325).

Я не знаю, в какой момент М. В. Вишняку открылась «метаистория». Но, думаю, что этими открытиями он платит дань

настроениям, источник которых лежит *вне* русского революционного и социалистического движения.

Послушаем, в самом деле, Вишняка:

«Не в переходе земли к трудящимся, не в освобождении из романовской «тюрьмы народов» заключенных в ней национальностей и исповеданий, не в спасительности (?) для православной церкви того «рокового несчастья», которое «явила» собою революция; даже не в упразднении сословного строя и монархической формы правления (самодержавия! В. С.) — главное и основное завоевание русской революции. Оно в осознании народом своего бытия, как целого и как единства... Наличность национального самосознания — необходимая предпосылка самого государственного бытия в XX веке. Это показала русско-японская война. Это окончательно и бесповоротно доказала и утвердила война мировая. Россия должна была стать вровень с веком». (Стр. 318).

В феврале это и произошло, что доказывается «печатью богоприсутствия», которая, по свидетельству г-жи Гиппиус, «лежала на всех лицах». (317).

Здесь все произвольно, ошибочно и натянуто, начиная с определения понятия революции, кончая февральским «богоприсутствием».

И все, на самом деле, принадлежит «мета-истории», «мета-политике». Находится где-то за пределами реальной, живой исторической действительности.

Прежде всего, что такое «всенародная» и что такое «национальная» революция?

У М. В. Вишняка оба эти понятия не то совпадают, не то покрывают друг друга, не то «сосуществуют».

Между тем понятие «всенародности» указывает на широту охвата революции, на состав вовлеченных в нее людских масс, тогда как «национальный» ее характер указывает, повидимому, также и на *содержание* революции — утверждение национальности, больше того, — ее возникновение.

О «всенародности» революции можно, разумеется, говорить лишь условно. Чем больше, чем значительнее революционный кризис, тем более широкие массы бывают вовлечены в него и тем глубже переживаемое ими духовное потрясение, тем напряженнее совершающийся в них внутренний переворот, ломка старых понятий, поиски нового.

В «великих» революциях участвует действительно «весь народ». Но это вовсе не значит, что он весь, все его классы, сословия, обязательно охвачены единой революционной идеей, ибо, во-первых, революция совершается все-таки *против* одного (или нескольких) из этих классов и сословий, а, во-вторых, и в самом революционном народе тоже действуют обычно различные слои,

несущие каждый свою идеологию, свое представление о «национально - государственных» задачах и интересах, о цели революции.

Революция предполагает контр-революцию, которая может быть разбита, обессилена, запугана, но все-таки находится вне «всенародного» движения и, кроме того, неизбежно пытается взять реванш и представляет известную опасность, пока не закреплены окончательно завоевания революции.

Что же касается «национальных» революций вообще и момента рождения «русской нации» в частности, я должен сказать, что держусь более высокого мнения о русском народе и о России, чем М. В. Вишняк.

И, думаю, — более исторически верного. Ведь, согласно его теории, Россия существовала (по его выражению «пребывала») «в образе и духе нации» всего лишь 8 месяцев, от февраля по октябрь 1917 года.

Я думаю, что, желая возвеличить эпоху временного правительства, публицист «Современных Записок» совершенно напрасно унизил всю предшествовавшую русскую историю.

Оставляя в стороне вопрос, насколько уместно применить термин «нация» по отношению к многонациональному и многоплеменному государству и предполагая, что М. В. Вишняк имеет в виду сознание государственного единства и культурно-исторической общности, я думаю, что это сознание родилось, по меньшей мере, целым столетием раньше февраля.

Если бы не было в народе стихийного «национально-государственного» чувства, то ведь не было бы и российского государства. И не верно, будто народ никогда не «осознавал» это чувство.

Если для М. В. Вишняка не достаточно ни освобождения от татарского ига, ни Смутного Времени, ни тех лет, когда «в бореньях силы напрягая, росла Россия молодая», то, может быть, он согласится признать, что «национально-государственное» чувство проявилось достаточно ярко в эпоху Отечественной войны. Во всяком случае, Россия стала «исторической нацией» задолго до революции, и в этом отношении русская революция, конечно же, отличается от подлинных «национальных революций», которые положили начало в Западной Европе «национальным государствам», освобожденным от чужеземного гнета.

Говорить, что главный смысл русской революции — утверждение национального бытия России, это все равно, что сказать, что смысл хирургической операции не в излечении и не в спасении жизни человека, а в осознании им своего человеческого бытия.

Если уж на то пошло, то можно скорее утверждать, что в февральском периоде социальные и внутренние политические про-

блемы заняли такое громадное место в развитии революционных событий, что значительно ослабили чувство национальной самообороны (от внешнего врага), сознание национально-государственных интересов, причем в том же направлении действовало пробуждение к жизни «неисторических» национальностей.

М. В. Вишняк, согласно своей теории, полагает, что в октябре кончилась революция и прекратила свое существование русская нация.

«Именно потому, — говорит он в той же статье, — что октябрь опирался по преимуществу на «шкурнические» инстинкты, исходил не из сплочения, а из разделения, из партийной и классовой диктатуры и гражданской войны, а не из гражданского мира и народопроявления, из идеалов не национальной, а мировой революции, делавшей из России простой «палачом и детонатором» европейских революций и упразднявший Россию как национально-государственное единство из грядущего союза СССР, — октябрь был, если угодно, *штабной* революцией, но не революцией в подлинном и единственном ее значении и смысле».

Здесь явно смешивается момент октябрьского переворота (как и в вышеприведенной цитате о роли Ц. К. большевиков и т. д.), и те силы, которые помогли большевикам захватить власть, с содержанием и смыслом *октябрьского десятилетия*, с характером продолжавшихся в течение этих десяти лет революционных процессов.

«Шкурнические» интересы безусловно были, была и всевозможная «грабизжа», но как просмотрел в своем перечне М. В. Вишняк *аграрную революцию*, т. е. фактический захват земли, происшедший после октября?

Как просмотрел он, охвативший пролетарские массы (а отчасти и крестьянские), *социальный утопизм*, «веру в социальные чудеса», по выражению Мартова, и далеко не «шкурнический», а вполне безкорыстный *революционный энтузиазм*, сочетавшийся правда, это всегда бывает во время революций и гражданских войн, со *страшным обострением ненависти* ко вчерашним угнетателям, в особенности, когда выяснилось, что они пытаются вернуться во главе «белых армий»? . .

М. В. Вишняк говорит, — в феврале «действовал народ, национализировалась национальная стихия».

Но разве не *народ* дрался с белыми, гнал к морю Деникина и Врангеля, разбил и разложил колчаковские армии?

Или народ — это обязательно — «всенарод», — слияние всех классов, священное единение пролетариата и буржуазии, крестьян и помещиков, коалиция?

Боюсь, что для Вишняка это так, или, что он, как и большевики, смешивает революцию с мероприятиями того или иного правительства: в феврале было хорошее правительство, и пото-

му была революция, с октября правят большевики, и потому — нет революции.

Между тем и в октябрьское десятилетие «наличествовала национальная стихия». И, при этом наличествовала в двух смыслах.

Трудно, в самом деле, отрицать, что в большевицком периоде революции, да и в самом большевизме, в его деятелях, проявились некоторые русские национальные черты.

А с другой стороны, несомненно, что в огне гражданских войн и революционной обороны против интервенции вновь окрепло и закалилось чувство национально-государственного единства, сплоченности, «своеобразный революционный патриотизм» (и даже шовинизм), который отмечается многими анти-большевицами, даже самыми правыми.

В последних своих статьях М. В. Вишняк, как будто бы, начинает понимать это.

Его утверждения менее категоричны, и он допускает известные оговорки.

Так, в кн. 33 «Совр. Записок» («Миф октября»), он признает, что «большевизм—явление русской истории», что «красно-армейцы и большевики думали, что они умирают за серп и молот, за конечное освобождение человека и человечества от мирового гнета и капитализма», что «в большевизме имеются и элементы социального утопизма».

Его главная аргументация направлена уже на то, чтобы доказать, что большевизм «не имманентен русской истории», что «не вытекал из нее с безусловной необходимостью, не был предопределен национально-религиозными основаниями»...

Для доказательства «не национальности» большевицкого периода революции он делает ударение на «мировых, сверх-национальных» стремлениях большевизма.

Все это так. Но все это говорит лишь о том, что большевики, захватив в свои руки руководство революцией, пытались и пытаются заставить ее выполнить непосильную, исторически невозможную, задачу, и в этом стремлении истощают ее силы, перенапрягают ее энергию.

Но разве можно было бы, говоря словами Вишняка (стр. 369) пытаться «сделать исходным пунктом для универсального освобождения всего мира»... контр-революцию?

Да, большевики «рискнули судьбами великой, но «провинциальной» революции, а заодно и страной», но все же они смогли преследовать свои цели «вселенской» революции именно потому, что еще не кончилась, не истощилась окончательно, «провинциальная» русская революция, что могли еще «красно-армейцы» умирать за «великую тему всякой революции — невозможное преобразование жизни».

Последние слова взяты мною у г. Степуна, которому отвеча-

ет М. В. Вишняк в только что цитированной статье. Отмеченное выше некоторое смягчение формулировок, повидимому, объясняется впечатлением, произведенным на редактора «С. З.» этим талантливым сотрудником.

Г. Степун подходит к вопросу о революции и большевизме с точки зрения нам глубоко чуждой. Он ищет «последнего, метафизического смысла революции» и исследует «национально религиозные основы большевизма».

Но он не только не отрицает того, что революция продолжалась и после октября, но считает, что лишь после октября полностью развернулась основная «тема» русской революции, что «большевизм—Россия, езугобо Россия, ибо большевизм тягчайший грех России перед самой собой», что в Ленине «жило что-то древнерусское, не только от Стеньки Разина, но, быть может, и от протопопа Аввакума». («Совр. Записки», ном. 33).

Говоря именно о большевицком периоде, он пишет:

«Отрицать грандиозный размах русской революции, ее пока еще слабо учитываемое значение для судеб всего мира, ее подлинно русскую тягу к вопросам высшего порядка — отрицать не приходится». («С. З.», ном. 32, стр. 282.).

Правда, он доказывает затем «греховность» революции, видит ее «метафизический смысл» в «мгновенном падении, внезапном крушении народной веры».

«В этом диалектическом срыве народной души, — говорит он, — надо искать объяснение, как невероятной напряженности и высоты метафизической проблематики русской революции, так и ее предельному окаянству». (Стр. 291).

Но, если оставить в стороне метафизику и «духоверческие» откровения г. Степуна (он сам признает, что его мысль «колесит в темных просторах»), то мы не можем не согласиться с ним в том, что и после октября Россия продолжала переживать *революционную* лихорадку, что в стихийных движениях народного гнева, народной мести, даже, порою, в его безумном бреде, звучала *революционная*, а не контр-революционная; не реакционная в истинном смысле этого слова, тема.

Подавление свободы большевиками, их рабское подражание худшим реакционным образцам, дела не меняет.

Они были вынесены на поверхность *стихийно-революционной* волной, их спасла от белых армий и интервенции *революционная* энергия народа, они получили возможность делать свои социальные опыты, опираясь на революционную ненависть к прошлым угнетателям и на революционный же утопизм масс.

Теперь их диктатура явно вырождается, и в настроении масс тоже происходят глубокие перемены, разные в различных классах. Кроме того, в процессе большевицкого «строительства» все яснее разворачивается их грубо-насильническое представление об

идеальном человеческом обществе, их механическая, бездушная, казарменная утопия, находящаяся в глубоком, принципиальном противоречии с вечным и подлинно революционным стремлением человеческой мысли, человеческого духа к свободе.

Но, пока что, им еще не удалось создать такой всеобщей коммунистической казармы, проникнутой церковно-полицейским реакционным духом.

Пока что, их власть покоится не на превращении населения российского в бездушных и совершенных автоматов, бездумно подчиняющихся сложной иерархии «вождей», свято верящих в божественного Ленина и его пророков.

Этой реакции еще в России нет, и вряд ли многие к ней стремятся, хотя вообще вполне возможен рост реакционных настроений...

Думаю также, что еще не закончился революционный процесс, не истощилась до конца, *до реакции*, революция.

Я остановлюсь на «метафизической» революции более подробно в другой раз.

Пока с нас довольно и «метаистории».

Сейчас же, в заключение, я хочу ответить на естественно возникающий вопрос: каков практический, политический вывод из всего этого, затянувшегося рассуждения на тему о революции и контр-революции?

Оправдание большевизма? ..

Нисколько. Во-первых, — выяснение тех ошибок и упущений революционной демократии, которые сделали возможным и неизбежным переход руководства революцией к большевикам и укрепление их власти.

Во-вторых, — понимание той основной для выработки правильной тактики истины, что борьба против революционной, утопической диктатуры, хотя и вырождающейся, хотя и создающей деспотический, полицейский режим и стремящейся его увековечить, но все же в недавнем прошлом руководившей обороной революции от помещичьей, реакционно-буржуазной контр-революции, должна вестись иными средствами и иным сочетанием сил, чем борьба против свергнутого революцией строя.

В-третьих, — определение ближайших задач этой борьбы в соответствии, а не в противоречии, с общим направлением революционного процесса, с объективным смыслом революции, исключющее всякую возможность какого-либо «соседства» или параллелизма с контр-революцией и реакцией.

В. В. Сухомлин.

Снова по родной земле

ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ¹⁾

ЧУБАРОВ ПЕРЕУЛОК

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

Экое стало звонкое имя!

На всю Россию, да что там! — на весь мир прогремело.

Чубаров переулок, чубаровцы, чубаровщина...

— Да, это форменные чубаровцы...

— Вот, развелась чубаровщина...

Словом, знаменитый переулок стал каким-то символом, а его злополучные обитатели — воплощением специального зла — «чубаровщины»...

А самая «чубаровщина» превратилась в синоним «советской» хулиганской половой распущенности, усугубленной насилием. И рукой подать — от «советской» недалеко и до «революционной». Смотришь и вывод готов:

Чубаровщина результат революционной низовой половой распущенности, революционно-хулиганское половое безобразие...

В конце концов, так приблизительно говорит о «чубаровщине» и большевицкая печать.

¹⁾ См. «Волю России» №№ 10, 11-12 1927 г., №№ 1 и 2 1928 г.

Слов нет, наша действительность в области пола, половых отношений, представляет много печального. «Коллонтайские» теории внесли не мало зла в жизнь молодежи. Но, чубаровщина...

Для своеобразных половых отношений, порожденных большевизмом, надо было бы найти какое нибудь иное название.

Ибо чубаровщина, та, которая прогремела на весь мир, выросла на другой почве. И почва эта оплодотворена совсем не революционными соками.

На вечеринке у знакомых я услышал пренебрежительное замечание подростка-комсомолки:

— Ну, знаете, это настоящая чубаровщина...

Юнец хотел что-то ответить.

Но в разговор вмешался пожилой рабочий из «квалифицированных».

— А вы, гражданка, видели ли хотя раз этот самый переулочек?

— Еще бы вы захотели, чтобы девушка по Чубаровым переулкам ходила...

— А вам полезно, гражданка, было бы. Все толкуете: чубаровцы, да чубаровцы, а понятия не имеете. Переулочек, как переулочек. И чубаровцы — люди. Я вот сам — чубаровец.

Вмешательство обиженного чубаровца меня заинтриговало. Я заговорил с ним. К концу вечеринки мы подружились.

— А вы, гражданин, приходите к нам на завод. Поговорим.

Чубаров переулочек, Чубаров переулочек... что-то старое звало после разговора на вечеринке в моей памяти это название. Какой-то давней, давней старинкой пахнуло на меня. И вдруг я вспомнил... Ну, да, Чубаров переулочек — недалеко от скопления больших заводов, на которых я столетие тому назад — в 1905 году — вел эс-эровскую работу.

*

**

Чубаров переулочек — недлинная, неширокая улица, самый обыкновенный питерский переулочек, ничем от других улиц не отличающийся.

Он отходит от Лиговки, — напротив Раз'езжей, — пересекает Предтеченскую и упирается в Екатеринославскую. А Екатеринославская — помните-ли? — параллельна Николаевской железной дороге.

Если повернете по Екатеринославской направо, — то скоро дойдете до Американского железнодорожного моста. Американский мост — центр хулиганского безобразия. Хулиганье царило здесь — как и по всей Лиговке — в старые времена. Царит оно здесь и теперь.

Помню, как на глазах городского компани хулиганов, человек в десять, заманивали «неопытных прохожих» сыграть «на пополам», в «ремешек» — попасть пальцем или палочкой в быстро развертываемый ремень... И безбожно обыгрывали наивного простачка.

Ночью здесь проходу не было. Хулиганье раздевало и грабило проходящих, нередко на глазах мужа «отбивали жену».

В Чубаровом переулке в старые времена было несколько публичных домов и в изобилии жили квартирные проститутки. Часть домов еще до войны закрыли, часть во время войны — неловко властям стало терпеть в самом центре города такое безобразие. Но квартирные проститутки остались.

На недалекой же — всего в десяти минутах ходьбы — Глазовой улице публичные дома благополучно просуществовали и войну и революцию.

Наследие публичных домов, — развращенное население, — квартирные проститутки, вся «промышленность», создававшаяся для обслуживания этого рода занятия, специальные пивнушки, трактиры, «семейные гостиницы» и «семейные бани» — искони составляли центр хулиганского притяжения.

Прочному вкоренению хулиганья в этот населенный район в высшей степени способствовало наличие большего числа мелких мастерских: кузнечных, экипажных, башмачных, столярных, швейных — и разных других. Жестоко эксплуатируемые, не квалифицированные подмастерья являлись вместе с чернорабочими и несознательными рабочими окружающих заводов благоприятной средой для развития хулиганства.

А заводов здесь было и осталось не мало.

У Американского моста, на Обводном канале — тоже ли-

хое место — лесопильный завод Штудера. Неподалеку, на Боровой, — бумаго-прядельная и ткацкая фабрика Кожевникова.

На Екатеринославской, прямо против Чубарова переулка, железнодорожные мастерские и депо Николаевской железной дороги. На Лиговке большой ламповый завод Германа.

В версте, на другой стороне Обводного канала, — завод Вестингауза. На Вестингаузе тон был иной, — главная масса рабочих сознательная, организованная социалистами-революционерами и социал-демократами, сама борющаяся против каких бы то ни было проявлений хулиганства, пьянства, лодырничества и невежества.

Но самым скверным заведением был завод Сан-Галли. Был и остался. Традиции в'едчивы.

И до революции 1905 года, и во время войны администрация этого завода главной своей целью ставила — дешевый труд. Наушничество и доносительство процветали. Массы были неорганизованы. К революционной пропаганде относились равнодушно. На заводе орудовал во всю Союз Русского Народа, он же Михаила Архангела.

Сан-Галли, опекаемый ретивой администрацией, полицией и Союзом Русского Народа, поставлял главные хулиганские кадры. Выходит завод на Лиговку и на Предтеченскую — рукой подать до Чубарова переулка, сажень сто, не больше.

Вот откуда пошли традиции Чубарова переулка... Что ни день — утром и вечером — сангальцы устраивали хулиганские выходки то в Чубаровом переулке, то на Обводном канале, а у Американского моста и у церкви Иоанна Предтечи безобразничали лесопильщики с завода Штудера и подмастерья из мелких мастерских.

Снисходительные администрация и полиция смотрели сквозь пальцы:

«чем бы дитя не тешилось»,

ведь дитя, — хулиганствующее, — ломало стачки, составляло кадры доносителей и черносотенных организаций.

**
*

Сижу в трактире и слушаю разговоры. Трактирщик не ахти какой, с девицами, хриплым граммофоном и наглой шпаной, — посетителями.

Мой собеседник — рабочий с вечеринки — говорит, показывая глазами:

«Обратите внимание на соседний столик. Разговоры какие! Слова порядочного не услышишь».

Разговоры, действительно, — аховые. И с девицами обращение — вольное.

Пьяная компания веселится и ругается во всю.

Но меня сквозь поток ругани поражают, я бы сказал, «районные» издевательства:

— Эй ты, Рязань косопузая, в душу, печенку...

— Цыц, Калуцкое тесто, язви тебя....

— Молчи, Смоленский рожок...

— Не лезь с руками, Скопска песочина, ишь за чужие щипки хватат...

— Козел Тверской, мать твою, душу, закон, веру...

И летит в воздух ядреная, смачная ругань, густо пересыпаемая прибаутками, кличками, женским визгом, звучными плевками и божбой.

Чего тут нет — и треска Архангельска, и Ярославца толстоухий, и Вологодский теленок, и гуща Новгородская, и волк Тамбовский, и... моржовый, и голландский, и валдайская, и все части человеческого тела и все святые, и все религии...

«Вот, шепчет мне собеседник, раньше эти самые молодцы в полицию бегали «язычниками» (доносчиками) были, а ныне, вместо Союза Михаила Архангела, в райком шляются. Я их всех знаю»...

Хрипит граммофон, мигает электричество, открываются и закрываются двери, на мгновение струя холодного воздуха, пахнущего снегом и морозом, врывается в «залу», топают сапогами и валенками входящие, стряхивают снег с полтъ, овчин и бород, клубится влажный, липкий, противный пар. Пахнет пивом, потом, женским телом, дешевой пудрой, пережаренным луком и прелой обувью...

За столом, в углу, другая пьяная компания с гармошкой:

Эх, я ли тебя, ты ли меня

.....

Ты ли меня, я ли тебя

Двадцать пять!

Бесстрастно смотрит со стены Ленин, чуть-чуть подмигивая левым глазом.

— Похабщина, бесстыдники, говорит мой собеседник. И, поверите-ли, все от старого хулиганья пошло. Приятели, братья, знакомые, — одна, знаете-ли, шайка. Вот к примеру наш завод взять. Еще при жизни старика, Франца Иосифовича, основателя самого, Сан-Галли, какие дела в этом районе заводская шпана разделявала. Вы, как следует, понимайте: шпана — это я не к тому говорю, чтобы неквалифицированная, нет, — а несознательная политически. Вы представьте себе, что в 1900 году, в сентябре месяце, часов в 8 вечера на глазах у живущих в сангальской колонии, компания хулиганствующих изнасиловала семнадцатилетнюю девицу. Во главе участников этого гнусного дела был глава хулиганов — Павел Хромов — по прозвищу Павлушка Москаль, а также Митька Халманов и другие».

«Прошу вас, — продолжал мой собеседник, обратите внимание на эту фамилию — Халманов. Хал-ма-нов! Тек-с... Хулиганов судили, да не очень. Павлушку Москаля засадили на год, а прочие пустячками отделались. Администрация замазала. Отец этого Митьки Халманова, литейщик, сам в колонии жил. Видали — может — рядом с заводом домики? — там до революции администрация и «заслуженные» рабочие проживали.

«А то еще вот чем эта хулиганская компания занималась: рядом с колонией на Лиговку—проходный двор. Станут у ворот и вымогают у проходящих деньги на пьянство. Кто не даст, того — по морде, по морде... Все те же артисты: Павлушка Москаль, Митька Халманов, Афонька Круль. И что же вы думаете? Отцы этих хулиганов, Халманова и Круля, тоже не порядочные были, подлизы к мастерам и к другому начальству, вернее сказать — «язычники».

«А уж черносотенцы! Халмановы — отец и сын — их много братьев было, и Афонька Круль с отцом, — как только забастовка, так позади рабочих и бегают, и которые к забастовке призывают, бьют по чем зря.

«Теперь понимаете, когда Митька с изнасилованием просыпался, за него и отец, и администрация, и полиция заступились. Золотой для них человек ведь был...

«И примите во внимание, — еще до 1905 г. на заводе были наши революционные организации, сознательный элемент.

А когда после забастовки разбили нас и завод «вычистили», хулиганье во главе стало. И до чего к этим пьяницам и мерзавцам администрация благоволила...

«Да-с, начало искать, — глубоко зарыться придется. А то чубаровцы, да чубаровцы... А откуда причины? И никому невдомек. Все забыли!».

.....

Раз пятнадцать,
Ты ли меня, я ли тебя
Двадцать пять!

«Хулиганы, бесстыдники!.. Если вы были в Петербурге в февральскую революцию, то помните, наверное, как сознательный рабочий элемент винтовочками пощелкал лиговских и чубаровских хулиганов? У нас тут в Чубаровом мужской, извините-с, публичный дом был. Фрейлины, сказывают, и вообще шкуры имущие приезжали. А потом вместо него основалась во время войны гостинница «Севастополь» — на два этажа, а в нижнем кухмистерская. 27-го февраля, вечером, пришлось нам ее поджечь, — полиция с пулеметами засела, не выбить было. Одни стенки, выгоревшие, остались. Не успели мы с полицией разделиться, — хулиганы. Громят и громят. Так мы их, мы, рабочие, революционный пролетариат, винтовочным огнем уладили. Да-с»..

Собеседник мой пришел в раж стукнул кулаком, и чуть громче сказал:

«Враки-с! Не от революции, не от сознательного пролетариата чубаровщина пошла, а от царского хулиганья, которое к революции примазавшись...

«Да-с! Как увидели хулиганы, что пропал навсегда царский режим, валом повалили к большевикам. Все пьяницы и доносители, все хулиганье к ним в октябре перекинулось. Верно... Сил нет, такая тьма туда повалила. А сколько их в Красной гвардии перебивало?.. Да-с. Вычистили большевики наш завод и от последнего сознательного элемента.

«А сколько и теперь в комиссариаты, в милицию, и в райкомы бегают. Вот откуда гниль пошла. От старых времен-с. Большевикам же такие элементы, конечно, на руку.

«А теперь обратите внимание на главное: Митька Халманов принимал участие в изнасиловании девицы в 1900 году. А кто принимал участие в изнасиловании в Чубаровом переулке в 1926 году, спрашиваю я вас?».

Он помолчал, с ехидством посмотрел на меня и торжественно, по слогам выговорил:

«Опять таки Хал-ма-нов! Из той же семейки-с... Яблочко, как говорится, от яблони недалеко падает. Да-с».

«Я говорю — понимать надо, откуда, что идет, а не болтать зря об революционном извращении. Большевички, само собой разумеется, на шпану оперлись, шпане волю дали, а сознательным рот зажали, но опять таки — какой же это революционный элемент хулиганы? А значит извращение — не революционное, а хулиганское. На старых дрожжах замешанное. Да-с»...

**
*

Пар и табачный дым застилали трактир уже сплошным туманом, в котором слабо, как в парной бане, мигали огни ламп. Субботняя публика вваливалась и вываливалась из заведения.

Гармонь доносилась откуда-то издалека и сквозь шум, звон и визг, я улавливал ее печальный речитатив и знакомую мелодию «Кирпичиков». Высокий, грудной женский голос старательно выводил:

На Украине где-то города,
Я в рабочей семье родилась,
Лет шастнадцати я горемычная
На кирпичный завод нанялась.
Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За веселый шум, за кирпичики,
Полюбила я этот завод.
На заводе том Ваньку встретила,
Раз... руки вымыли,
Вот за Ваньку-то, за кирпичики,
Полюбила я этот завод.

— «Слушайте, чем начала, а чем кончит, — сказал мне собеседник. Ваньку-то во что произведет».

Но слова долетали до нас плохо. Я напрягал слух и с трудом улавливал неполные строфы:

Тут вдруг буря грянула,
 Забастовка
 Ваньку
 А за ним меня
 И еще сорок два.
 Озлобился народ
 По кирпичику разобрали завод,
 И замолкнул шум.

— Не лезь тебе говорят! Куды руками суешь? Не для тебя приготовлено. То же кавалер...

В начавшейся ругне я прослушал весь период «советского строительства». — Однако, разобранный завод построили как будто, и сквозь пьяный гик вновь доносились неполные строфы, рисовавшие уже советскую идиллию:

Стал товарищ Иван
 комиссаром,
 и задумала я
 взглянуть на завод.
 А за мною товарищ Иван.
 По кирпичику, по кирпичику.
 За веселый шум, за кирпичики.
 Полюбила я новый завод.

«Слушайте, теперь слушайте внимательно. Ловко шкура поет... Тоже строители нашлись»...

Красный директор
 товарищ Иван
 Я жена...
 Разлюбила я этот завод.
 растрата
 тюрьма.
 Вот за шум, за кирпичики
 Разлюбила я этот завод.

И печально, печально прозвучала последняя строфа:

к стенке...

Разлюбила я этот завод.

«Всю биографию, чубаровскую, спела шкура, — сказал мой рабочий. Вот такими-то комиссарами — хоть пруд пруди. Понабирали их не мало из старого хулиганья, а потом расстреливают... А что толку? От сознательных отвернулись, и что получилось?.. Тоже дик-та-то-ры!».

На улице было ясно и светло, как бывает светло в тихие, морозные, лунные петербургские ночи. В лунном свете чудесно блистали золотые купола Иоанна Предтечи. Мы шли по Лиговке, и скрипел под полозьями саней вечером нападавший снег.

Вдруг полетели снежинки.

— Порошит, сказал я.

— К вьюге дело идет, ответил рабочий.

Хлопья падали все больше, и больше. Все крупнее и крупнее. Поднялся ветерок. Завыл, задул, налетел. Окреп. У-у-у-у...

— Вьюга и впрямь.

Закрутился, завертелся снег, и привидениями замелькали отодвинувшиеся вдруг за снежную пелену фигуры прохожих.

— Блоковская ночь, сказал я.

— Ась? — переспросил, не поняв, рабочий.

А у меня в ушах уже звенели, физически звенели, единственные — не пророческие-ли, не провидческие-ли? — строфы:

Гуляет ветер, порхает снег,

Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,

Кругом — огни, огни, огни...

В зубах цыгарка, примят картуз,

На спину-б надо бубновый туз!

(Продолжение следует)

Глеб Гонцов.

Петербург, Январь, 1928 г.

С л а в я н с к и й о б з о р

О г у с и т с т в е. *)

Если рассматривать с различных точек зрения влияние гуситского движения на социальное развитие чешского народа, то его значение для *национального чешского развития*, для расцвета чешского национализма и национального самосознания бесспорно. Для того, чтобы это стало вполне ясно, необходимо просмотреть хотя бы бегло прошлое чешского народа до гуситства.

Всем известно, что устремления нашей истории в наиболее древнюю эпоху определялись, пожалуй, более всего соседством с могущественным немецким племенем. Правда, чешскому народу удалось избежать участи, которую немецкий империализм приготовил некоторым иным славянским народам, находившимся по близости, он не был, как они, поглощен немцами, но и на него в течение многих столетий оказывало сильное давление немецкая политика и культура; иногда они действовали насильственно, иногда мирно, принося чешскому народу экономический и культурный прогресс, но одновременно ставя под удар его самобытность и свободу, а иногда угрожая самому его существованию.

Этим объясняется, почему у чехов так скоро созрело необычайно живое национальное сознание, почему национальная мысль являлась основным двигателем чешской истории чуть ли не с самого ее начала. Из постоянной борьбы с германской империей, властители которой унаследовали от Рима стремление к мировому владычеству и старались подчинить Чехию, выросло могучее народное самосознание, проявлявшееся в ревливой заботливости о свободе и правах чешского государства. Абсолютный перевес могущественного соседа, опирающегося при том на великую идею единой западно-христианской монархии, принудил, правда, чехов признать над собой правовое главенство римско-германской империи и связать себя с ней определенными обязательствами, но стремления немецких императоров укрепить зависимость чешского государства от германской империи и вмешиваться *во внутренние дела* возбуждали всегда громкое недовольство и отпор.

Но, пожалуй, еще больше, чем страх за чешскую государственную свободу, которой грозили империалистические стремле-

*) См. «Волю Россию» № 2 за 1928 г.

ния народов, подчиненных римско-германскому императору, стремления, которые далеко не всегда были национальными, чешское движение против всего немецкого, а вследствие этого и национальное самосознание поддерживалось вторжением немецких элементов на национальную территорию. Немецкие монахи и священники, немецкие купцы, немецкие князья со своими дворами начали в огромном количестве довольно рано переселяться в Чехию. Многие из приехавших добивались благосклонности князей, а через них и блестящего положения и сильной власти. Особенно высшие духовные должности раздавались немцам в то время, когда христианство было еще в Чехии в младенческом состоянии.

Вполне естественно, что у местных жителей, особенно же у духовенства, это возбуждало весьма неприязненные чувства, как об этом свидетельствует труд наиболее древнего чешского летописца Козьмы, жившего в XII столетии. Слова Козьмы о «врожденном самомнении немцев, которые при своей надутости и задирании носа вечно презирают славян и их язык», а особенно его рассказ о возмущении, вызванном в чешском дворянстве, проектом о назначении пражским епископом немца (здесь он говорит о чужестранце, который пришел оборванным в эту страну, а теперь хочет сесть на епископский престол) выражает вполне точно взгляд многих тогдашних чехов на немцев. Но этот же старейший летописец нашел прекрасные и простые выражения для *положительного* чувства естественной любви к собственному народу. Он пишет, что «таково есть естество человеческое» и дальше, «что каждый, будь он член какого бы то ни было народа, любит народ свой больше, чем чужой и что, если бы это было возможно, чужих героев привел бы в свое отечество». Эта способность так сознавать чувство любви к своему народу развилась, очевидно, у летописца Козьмы, благодаря его необычному у нас для того времени образованию. У большинства его соотечественников, живших, как одновременно, так и позднее и не имевших таких блестящих способностей, национальное самосознание попросту сливалось с протестом против немецкого элемента, который неприятно их задевал своей постоянной бесцеремонностью.

Эта нелюбовь ко всему немецкому, естественно, возросла еще больше в позднейшую эпоху, когда в Чехию начали переселяться массами немецкие колонисты, получавшие здесь большие экономические и правовые преимущества, а благодаря им и более выгодное положение, чем коренные жители. Какого влияния они достигли при последних королях из рода Пршемысла, которые так усиленно поддерживали распространение немецкого элемента в Чехии, видно по концу царствования великого Пршемысла Отокара II, и по его несчастной битве с немецким королем Рудольфом Габсбургским. Как раз к этому времени от-

носится тот возвышенный манифест Пршемысла к польскому дворянству, в котором, рядом со страстным протестом против агрессивного германства, уже слышится идея славянской взаимности. Сейчас мы уже знаем, что этот манифест не был написан в чешской королевской канцелярии и что не оттуда его рассылали, что, наконец, его автором был итальянский нотариус, живший тогда в Праге, но все же в нем мы можем смело видеть отголосок тех настроений, которые тогда были широко распространены в Чехии. В нем говорится:

«Среди всех народов земли народ польский больше всего походит на нас. Он связан с нами одинаковостью языка, соседством и кровным родством. Его сыны и мы произошли от того же корня. А посему мы возлюбили князей, дворянство и народ польский, радуемся его успехам, хотим быть его защитой и заботиться о его чести и славе, одновременно в минуту опасности и мы полагаемся на его помощь. А посему ныне, когда мы решили сопротивляться оскорблениям и притеснениям римского короля Рудольфа, мы просим вас, — придите и нам на помощь... У вас для этого имеются еще и иные важные причины. Ибо если падем мы, то ненасытные глотки немцев откроются еще шире и их губительное обжорство коснется и вашей земли. Мы для вас, что крепкая стена, но если она не устоит, то великая опасность будет грозить вам. Их беспредельное хищничество не удовлетворилось бы вашим порабощением, но захватило бы и ваше имущество и возложило бы на вас непосильное бремя. О, какие притеснения должен будет выносить тогда ваш народ, который ненавидят немцы, в какое жестокое рабство впадет свободная Польша и какие бедствия охватят весь ваш род... А посему мы просим вас, чтобы не к ним, а к нам, принадлежащим с вами к одному племени, склонили бы вы свой слух и спешно вооружались и шли нам на помощь, ибо, помогая нам, вы поможете и себе»...

Если эта страстная декларация возникла под влиянием сознания огромной опасности, грозящей чешскому и польскому народам от соседней немецкой империи, то реакция на все увеличивающийся рост немецкого элемента в Чехии выражена не менее резко в рифмованной, так называемой Далимиловой хронике, возникшей в начале 14-го столетия. Автор этой книги был дворянин, ненавидящий немецких мещан-переселенцев, все возрастающее значение которых начинает быть опасным его классу; но он способен подняться над этой классовой точкой зрения до более широкого взгляда на взаимные отношения обеих национальностей в Чехии. Проникновение немцев в Чехию кажется ему огромной опасностью для чешского государства и народа. Потому что «языка разделение есть земли пагуба», в то время как, «где один язык, там и его слава». А происходит это оттого,

что «каждое сердце тужит по своему языку» и невозможно, чтобы, кто-нибудь искренно стремился к чужому языку. Особенно «все же немцы на чехов хулу возводят». Немецкий император хочет чтобы «чешский князь силу не взял»; немки, супруги чешских князей, больше заботятся о своей славе, чем о чешском народе, они держат немецкую прислугу и учат своих детей по немецки; немецкий народ в Чехии не так верен королю, как чехи, он готов предать страну и князей и ищет себе господина в своем отечестве. А потому долг всякого чеха, будь то князь или человек из народа, любить и защищать свой язык, свою национальность, не впускать иностранцев в свою землю, не дружиться с ними и не поддерживать их. Такие обязанности внушает Далимилов своим соотечественникам в решительной и страстной форме и резко осуждает каждое нарушение, все равно, сделает ли это король, поддерживая немцев, или народ, выбирая себе иностранного владыку. Далимилова стихотворная хроника действовала наверно очень сильно на укрепление национального самосознания в Чехии, но главным образом его питали постоянные трения между чехами и немцами, которые неизменно происходили в различных областях политической, экономической и культурной жизни. Во второй половине 14-го столетия главной ареной таких столкновений стал, по преимуществу, пражский университет. Он был основан не только для Чехии, но и для всей области немецкой империи, а потому в начале в нем преобладал немецкий элемент. Но когда позднее, под влиянием университета, чехи начали преуспевать в науках, когда возросло количество и значение чешских ученых и, наоборот, благодаря основанию новых университетов в Германии, в Праге становилось все меньше немецких ученых, то чехи начали ощущать это положение, как великую несправедливость по отношению к себе. В результате этого чувства возникло стремление добыть местному, чешскому элементу в университете решающий голос, который принадлежал ему по праву на родине; опубликованием славного Кутногорского декрета в 1409 году была вполне достигнута эта цель.

Во время этой борьбы чешское народное самосознание необычайно окрепло и углубилось. Еще в 1401 г. Гус по собственному признанию высказался против привилегированного положения немцев в Чехии, особенно же против их устройства в различных казенных учреждениях. Будучи возмущен жестокостями, которые совершали в Чехии немецкие войска римского лжекороля Рупрехта, он резко обвинял своих соотечественников, что в этом случае они ведут себя хуже, чем псы или змеи, ибо «пес защищает подстилку, на которой лежит, и если бы другой пес хотел ее у него отнять, то он бы дрался с ним, то же сделал бы и змей по отношению к своему гнезду, а чехи у которых много справедливых причин, не защищают своего королевства». И да-

лее он говорил, что «по закону, да, по Божескому и естественному закону, в чешском королевстве именно чехи должны бы были занимать первые места в учреждениях, точно так же, как французы во Франции, а немцы в своих землях, дабы чехи могли управлять чехами, а немцы немцами, ибо если бы чех, не знающий немецкого языка, был священником, или епископом в Германии, то от него была бы такая же польза, как и от немой собаки, не умеющей лаять; также полезен чехам немец».

Подобные же вещи проповедываются и в «Защите декрета кутногорского», написанной, очевидно, одним из магистров, принадлежавших к партии Гуса, вскоре после его выпуска в свет. — «Нынешнее покое чехов должно так же спокойно властвовать в Чехии без всяких вмешательств немцев, как и прежде», ибо, «как церковный, так и светский закон учат, что хозяин владычествует над пришельцем, ему приказывает и с ним обращается, как с подчиненным», а потому и народ чешский должен в чешском королевстве владычествовать над чужими народами, им приказывать и обращаться с ними, как с подчиненными коренными жителями, ибо эти народы не являются наследниками и господами королевства чешского». И говорится там еще, что «правдиво то, что чехи должны обладать в Чехии правами и преимуществами по сравнению с иностранцами, что они должны быть главою, а не хвостом, во всех советах, судах и при остальных выступлениях, касающихся пользы и чести Королевства, так что перед этой Правдой должен уступить обычай, по которому в чешском королевстве иностранцы захватили права чехов». . . . Гус и его приверженцы не призывали лишь к правовому признанию естественного первенства чехов в их собственном отечестве, но обязывали самих чехов заботиться о сохранении их языка и национального облика. Хорошо известны слова Гуса; провозгласившего, что и «князья, паны, рыцари, помещики и мещане должны постараться о том, чтобы не вымерла чешская речь; если чех женится на немке, то он должен с самого начала учить детей по чешски и не позволять им двоить язык, ибо двоение языка — это уже готовая зависть, разрыв и ссора»...

Все эти заявления свидетельствуют, что чешское национальное самосознание усиливалось главным образом в борьбе с немецкими элементами, которые грозили чешской свободе как извне, так и внутри. Вполне понятно, что в этом случае преобладал отрицательный и оборонительный характер, проявляющий себя в отвращении ко всему немецкому, вместо признания обязанности работать над улучшением и усовершенствованием своего народа, несмотря на то, что уже у Козьмы и Далимила, а особенно у Гуса, слышится вполне ясно это положительное чувство любви к народу. Новое глубокое содержание влило в чешское национальное самосознание и мышление гуситство.

В гуситском движении впервые достигло своих вершин чешское сопротивление привилегированному положению немецких колонистов в Чехии, ярче всего оно было выражено в уже указанной «Защите кутногорского декрета». Уже в самом начале движения Съезд чашников, бывший в Праге в 1419 году, постановил, чтобы «в городах, где чехи могут и умеют управлять, немцев бы не сажали в присутствие, чтобы суд и жалобы в Чехии велись бы по чешски, чтобы чехи всюду в городах и в королевстве добивались первых голосов». Когда же, по призыву папского престола, соседи чехов, немцы, начали готовить против них крестовый поход, то сознание древней вражды к немцам и грозившей от них опасности ожило с небывалой силой. Страстный гуситский манифест от 3-го апреля 1420 года огненными словами обвиняет папу и постнический собор, что они... «врагов наших вечных, немцев окольных, призвали на несправедливый бой с нами, подняли против нас лживыми обещаниями о спасении от грехов и от мук в гиене тех, кто никогда не имел на то причин, всегда язык наш держали в злости; и так как они вредили нашему языку на Рейне, в Мейсене и в Пруссии и изгнали его оттуда, так хотят они поступить и со всеми нами, а потом занять места изгнанных», далее говорится о том, чтобы и «сами чехи вспомнили о доблестных отцах наших, древних чехах, бывших страстными любовниками своей отчизны и которые восстали против этого зла»... В манифесте, изданном гуситами после победы у Вышеграда (5-го октября 1420 г.), они обвиняют короля Сигизмунда, что «он заботится лишь о том, чтобы стереть с лица земли чешский язык, уболаготворить чужестранцев и посадить их на место изгнанных чехов»; и далее они бросают ему в лицо обвинение, что в битве у Вышеграда он умышленно загубил цвет чешского дворянства, столь преданного ему, ибо «немцев и венгров, этих злейших врагов нашего языка, он жалеет и выдвигает, а по отношению к нам, всегда стремится лишь к одному концу, чтобы чехи, убивая друг друга, с обеих сторон ослабли, а немцам и венграм было бы тогда легче стереть их с лица земли; все это было слышано из проклятых уст этого короля, когда он заявил, что готов бы отдать всю венгерскую землю, лишь бы в чешской земле не осталось ни одного чеха». Усилившееся сознание необходимости энергично противодействовать немцам, грозящим самому существованию чешского народа, имело весьма значительные результаты. Что касается внешней стороны, то все наступления немецких крестоносцев на Чехию были отражены с большими потерями гуситскими «божьими ратниками». Начавшееся внутри государства стремительное возрастание чешского влияния в городах, основанных, в большинстве случаев, немецкими колонистами и управляемых ими, было завершено гуситским движением, которое лишило немецкий эле-

мент всех привилегий в общественной жизни и свело его почти на нет. Закончить эту национализацию общественной жизни в Чехии введением на престол правителя из чешского рода удалось, к сожалению, лишь временно; хотя подобное желание и было высказано в самом начале, но осуществилось оно лишь с избранием чешским королем Юрия Подебрадского.

Во время гуситского движения развилось также в небывалой степени *славянское* самосознание чехов. В уже приведенных словах гуситского манифеста 1420 года, говорящих о том, как немцы «вредили нашему языку на Рейне, в Мейсене и в Пруссии», слышится уже весьма ясно сознание национального родства и единения чехов с уничтоженными славянскими народами на севере и западе Чехии. Но еще ярче проявлялись симпатии чехов-гуситов по отношению к наиболее близким славянским народам, а именно, к полякам. Сознание близкого кровного родства, общей опасности и общих интересов у чешского и польского народов, о чем свидетельствует и мнимый манифест Пршемысла II в 1278 году, было значительно усилено оживленными чешско-польскими сношениями в пражском университете, основанном Карлом 4-м, а также и в краковском университете, где было не мало профессоров-чехов. Значительное участие чешских воинов в борьбе польского государства за Пруссию с орденом немецких рыцарей можно объяснить исключительно все возрастающими симпатиями чехов к братскому славянскому польскому народу. Нужно признать, что не только из чисто политических причин, но и как следствие славянского или, по крайней мере, чешско-польского чувства братства, родилась мысль предложить чешскую корону владыке из польского королевского рода; эта мысль всплыла, как только король Сигизмунд был свержен с престола, позднее к ней возвращались все чаще и чаще, пока она, наконец, не исполнилась, сначала частично, в форме временно-го призвания в Чехию Сигизмунда Корибута, а потом, по смерти Юрия Подебрадского, избранием в короли Владислава Ягеллона. Особо красноречивым доказательством мыслей и чувств, определявших тогдашнюю славянскую политику чехов, было небольшое агитационное произведение, возникшее, очевидно, по смерти короля Альбрехта II Габсбургского. В нем доказывается чехам, что «приличествует выбирать короля, говорящего на славянском языке, и ни в коем случае не допускать немца». И далее пишущий припоминает, что немцы «в баварских лесах обоживались и племя славянское истребили и на его места сели и подобное же случалось в соседних землях в царствование чешских королей, призванных из немецкого рода, и так дошли они до края луженского и края сербского и заняли их, а в землях этих был чешский и славянский корень». Далее он ссылается на апокрифическое завещание Александра Великого, в котором есть

обращение к «славянскому языку и чешскому», которым Александр оставил большую часть света на вечные времена, дабы там никакой иной, кроме славянского народа, не смел останавливаться жить, после чего он перечисляет 79 стран, обитаемых почти исключительно славянскими народами.

Совершенно новый элемент внесло гуситское движение в развитие национального самосознания тем, что в нем самом национальное чешское чувство часто удивительным образом сливалось с религиозным чувством. Великая борьба, которую, идя по стопам Гуса, начал чешский народ за очищение церкви и введение истинного закона Божьего, была одновременно и борьбой в защиту национальной чести и чешского достоинства. В знаменитом протесте чешско-моравского дворянства против сожжения Гуса говорится, что оно было «совершено на позор и унижение нас и всего чешского королевства» и «всякий человек, какого бы он ни был звания и сословия, говорящий, что в Чехии живут еретики, жмет на свою голову и как изменник и враг королевства и народа чешского, будучи сам еретиком, наполненным ложью». Немного позднее в выступлении пражских жителей против пражских же священников, которые не позволяли, по приказанию констанского собора, причащаться хлебом и вином, говорилось, что все это делается не только «вопреки Господу Богу и законам церковным, но и во вред и на зло всему народу чешскому». Но чехи-гуситы начали великий поход против почти всего христианского мира не только ради очищения чешского государства и народа от лжи еретичества, но и из убеждения, что, узнав *раньше остальных* чистую правду Божию, они обязаны помогать ее победе, стать божьими воинами, защитниками закона Божьего. Понятно, что в их головах возникла мысль об особой святости чешского народа, о его призвании к великим подвигам, к особой службе Богу и Его закону. Благодаря этому чешское самосознание получило особый мистический налет и трогательную восторженность; чешская же национальная идея была обогащена тем, что чешский народ, кроме самообороны против немецкого засилия, увидел перед собой великую цель — борьбу за чистейшую правду Божию. Немецкий историк Бекольди, большой знаток гуситской истории, написал о национальном сознании гуситов следующие многозначительные слова: «Гордость за свой народ, ревнивая защита его чести, радостная преданность национальному делу были, особенно в первых годах войн, основными чертами гуситского движения, которые на каждого беспристрастного зрителя должны были производить радостное и могучее впечатление. У чешского гусита было отечество, которым он гордился; на сколько ниже его в этом отношении были толпы его немецких врагов. Его сердце испытывало муку не от личных неудач или неудач, постигших родной город или деревню, —

нет, оно дрожало от гнева и боли при мысли об оскорблении, нанесенном его народу, оно сжималось от острой жалости при мысли о страдании и упадке своего древнего славного отечества».

К этим кратким и правдивым словам можно добавить, что чешский гусит был еще кроме того проникнут глубоким убеждением, что он борется за великую идею, за спасение всего христианства, за чистую правду Божественного закона, на защиту которого его народ был избран Богом в лице Гуса.

Даже позднее, когда чешское религиозное движение потеряло свою первоначальную стихийную силу, не исчезло вполне убеждение, что чехам было суждено узнать ранее остальных народов чистую правду Божию, установить, по крайней мере, среди своего народа основные божественные заветы. И упорный, но тщетный бой за признание чаши был для них не только религиозной борьбой, но и великим боем за честь и духовное благо чешского народа, исполнением великой национальной миссии. Основанная на этом национальная гордость чехов получила сильную поддержку в выступлении Лютера и в его огромных успехах в Германии. Многим начало казаться, что немцы начинают обращаться к правде, проповедываемой давно верными чехами, особенно же Гусом. Усердный защитник древнего гуситства священник Богуслав Билеевский призывал поэтому чехов, чтобы, приняв чашу, они примирились со своими гуситскими соотечественниками, благодаря чему чехи бы дали «всем народам пример истинного и благодетельного приятия правды, ибо о нас говорят соседи, что чехи сохранили нам веру». Билеевский полагал, что подобный пример чехов мог бы объединить всех христиан, направить на путь истинный папу и кардиналов и устранить таким образом причины разрыва: и, как следствие этого объединения, христиане могли бы привести к истинной вере без всякого кровопролития «грозных противников веры», самих врагов христианства. Столь великую задачу ставил перед своим народом этот поздний гусит, гордящийся его славным гуситским прошлым и увлеченный надеждой, что, благодаря лютеранству, немцы присоединятся к древнему, ими же столь преследуемому, гуситству. Но и те, кто понимал более правильно, чем Билеевский, значение лютеранства, видел в нем блестящую отплату чехам за те несправедливости, которые были совершены по отношению к ним немцами. Летописец Бартош Пишар, который склонялся к лютеровскому учению, восторженно восхвалял Лютера за то, что он «народ немецкий, враждебный от давних времен чехам и мораванам, привел к причастию крови и тела Христова под обоими видами, а благодаря этому соседних немцев, чехов и мораван между собою сдружил, в то время как прежде так велика была ненависть немцев к чехам, что им было тяжело даже имя чехов слышать».

Итак, несмотря на то, что благодаря религиозному сближению, которое настало из за реформации между гуситами, составляющими большинство народа чешского, и их немецкими соседями, благодаря чему ослабло прежнее чешско-немецкое напряжение и вместо него настали дружеские отношения между чашниками и их единомышленниками в соседних немецких землях; несмотря на то, что в самой стране ослабело сопротивление чехов немецкому элементу, благодаря чему открылся снова путь новой волне немецких эмигрантов в Чехию, все же успех лютеранства среди немцев поддерживал национальную гордость чехов чашников, уча их ценить еще выше собственное гуситское прошлое. А гордость за это прошлое и преданная любовь ко всему унаследованному от него способствовали тому, что чехи чашники не утонули совсем в море более сильного религиозного движения, возникшего благодаря выступлению Лютера, несмотря на сильное его влияние, что они, несмотря на все могущественные иноземные влияния, сумели сохранить свое религиозное своеобразие. Наиболее ярким доказательством является создание в 1575 году чешского вероисповедания, на самое возникновение которого как раз сильно влияло убеждение, что чехи узнали чистую правду Божию раньше и в более совершенном виде, чем иные народы, что лютеранское вероисповедание, хотя и правильно выражает многие истины, провозглашенные в Чехии уже задолго до выступления Лютера, так что они могли быть главной основой лютеранского вероисповедания, все же не является точным выражением чешских религиозных убеждений пропитанных традициями гуситства. Подобным же образом об этом свидетельствует и трогательная любовь, с которой чехи чашники уже после белогорского переворота, в то время, когда они переживали тяжелые годы страданий и тщетных надежд, все еще льнули к своему чешскому вероисповеданию, сопротивляясь принятию иноземного, хотя бы и близкого и родственного вероисповедания.

Но наиболее прекрасным и трогательным выражением глубокого убеждения чехов чашников в особой религиозной избранности чешского народа являются слова Коменского, в которых умирающее Братство завещает своему народу все, что оно унаследовало от своих предков. Это, прежде всего, «любовь к правде Божией, которую нам раньше чем иным народам Господь начал открывать через учителя нашего Яна Гуса, который с учеником своим (Еронимом) и многими иными верными чехами, утвердил кровью своей, ибо антихрист кознями своими в начале на Базельском Соборе, а потом войнами и жестокостями хотел отвести тебя от великих правды и истины». . . «Тебе принадлежит еще наследие», — взывает взволнованно Коменский устами умирающего Братства, — «тебе оно было дано ранее иных народов, о,

моя дорогая отчизна, прими же права свои, ибо они, поистине, принадлежат тебе, и владей ими, если будет милосерден к Тебе Господь и если отверзет Он снова врата истины». . .

Итак, гуситское движение имело огромное значение для развития чешского самосознания. Оно не только вернуло чешскому народу в его собственных владениях полные права, которые до тех пор с ним разделяли и немцы; оно не только необычайно усилило его национальное чувство, объединенное с славянским самосознанием, но и дало его национальному сознанию новое и значительное содержание. Оно внушило ему убеждение, что он предназначен к великим деяниям и что у него есть силы для их выполнения, благодаря чему и подняло его до осуществления наивысших возможностей жизненной энергии. Силу и энергию чешский народ в данном случае использовал отнюдь не для эгоистического увеличения грубой внешней власти, но для борьбы за великую идею, имевшую обще-человеческое значение. Он оказал человечеству тем большую услугу, что сам заплатил за нее чрезвычайно дорого. Прекрасно это выразил, уже упомянутый немецкий историк Бецольд, в следующих словах: «Трагическая судьба многих народов заключается в том, что они ведут ужасную борьбу за все человечество, сами же приносят в жертву все свои силы и цвет. Не за освобождение и величие *своего* народа воевали гуситские воины, но за освобождение и воскресение своих злейших врагов, в первую очередь — немцев». Тем, кому не по вкусу еретическое прошлое чешского народа, утверждают, что после Гуса пришла Белая Гора: это, по их мнению, значит, что белогорское поражение связано непосредственно с гуситством и что в значительной части оно является даже его наследием. Они доказывают, что гуситство довело чешский народ до гибели, что гуситское движение было национальным несчастьем, выступление Гуса — бредом, о котором нужно сожалеть и даже считать грехом перед народом. Нельзя не признать, что в этих суждениях есть все же крупица правды и что белогорское поражение связано с гуситством, что, быть может, без него чешский народ и избежал бы этого бедствия. Какова бы была в таком случае его судьба — трудно предсказывать. Быть может, он бы развивался более спокойно, без тех ужасных потрясений, которые ему было суждено пережить. Но, в таком случае, конечно, в его истории не было бы такого благородного величия и захватывающей силы, конечно, она не была бы для него таким источником возвышающего самосознания, конечно, она не внушала бы к нему такого уважения и почтения во всем образованном мире. «Жизнь бесполозная — уже не жизнь», — сказал великий поэт, и слова эти

справедливы не только по отношению к отдельным личностям, но и целым народам. Чем с большей пользой, не только для себя, но и для человечества живет народ, тем сильнее и полнее его жизнь, и тем большее право у него на жизнь. Не то, что чехи были могущественной державой при Пршемысле II или Карле 4-м, но то, что они начали борьбу за великую идею, что они дали человечеству Гуса, Хельчицкого и Коменского, — вот что является их величайшей гордостью, сильнейшим доказательством их права на великое и свободное существование, вернейшей порукой их будущности. И над судьбами народов властвует наивысшая справедливость. Поэтому жертва, которую они принесли человечеству, не была тщетна и для них самих. Та же идея, ради которой чешский народ жертвовал собой настолько, что чуть не впал в ничтожество, снова воскресила его к новой жизни. Именно гуситское прошлое, увеличивающее самосознание, давало и дает ему еще до сих пор силы для все новой борьбы. Правда, мы еще не достигли до сих пор того, что принадлежит нам, как по историческому, так и по естественному праву, но несмотря на все препятствия, мы выросли и укрепились настолько, что и в эту эпоху страшных потрясений, когда падают во прах великие державы, а иные сотрясаются в своих основах, когда величайшие народы мира должны бороться за сохранение своей власти, мы можем со спокойствием и доверием смотреть на свое будущее. Мы имеем полное право верить, что именно та высшая справедливость, которая царит над судьбами народов, не остановится на полпути, доведет до конца возмездие и что нашему народу будет возвращено то, что он потерял во время борьбы за наивысшее благо человечества, т. е. то, что является его священным правом и жизненной потребностью — абсолютную национальную свободу и независимость. Увеличивая нашу отвагу своим примером, добиваясь для нас уважения всего культурного мира, подают нам руку помощи, через пропасть пяти столетий, Гус, его приверженцы и последователи, помогая нашему народу идти по крутому и тернистому пути к лучшему и блестящему будущему.

Проф. К. Крофта

С чешской рукописи перевела

Н. Мельникова-Папоушкова

Социализм и рабочее движение

В Социалистическом Интернационале

(ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА)

25-го и 26-го февраля заседал в Цюрихе, под председательством Артура Гендерсона, **Исполнительный Комитет Рабочего Социалистического Интернационала.**

Присутствовали представители большинства примыкающих партий: Крипилен, Мюллер, Велс (Германия), Исакиан (Армения), Отто Бауэр (Австрия), Де Брукер, Вандервельде, Розбрук (Бельгия), Стаунинг, Мадсен (Дания), Гело (Финляндия), Ренодель, Брак, Лонгэ (Франция), Церетели (Грузия), Крэмп, Гендерсон, Кэрквуд, Гилюс (Англия), Флиген, Вибо (Голландия), Модильяни, Тревес (Италия), Ярблум (Палестина), Абрамович (Р.С.-Д.Р.П.), Сталинский (П.С.-Р.), Гансон, Мэллер (Швеция), Грим (Швейцария), Соукуп (Чехословакия), Феденко (Украина), Попович (Югославия) и Аделина Попп (Женский Социалистический Интернационал).

Заседания Исп. Ком., главным образом, были посвящены подготовке международного социалистического конгресса, который соберется 5-го августа в Брюсселе.

И. К. выработал порядок дня для Конгресса, включающий следующие пункты:

- 1. Милитаризм и разоружение.**
- 2. Колониальная проблема.**
- 3. Повоенное экономическое положение и экономическая политика рабочего класса.**
- 4. Доклад и резолюции международной конференции женщин.**
- 5. Организационные вопросы.**

Помимо того, И. К. решил поставить в порядок дня Конгресса и вопрос о политическом положении, сосредоточив особое внимание на опасностях, угрожающих демократии. Окончательная формулировка этого пункта поручена Бюро Интернационала, которое соберется в июне.

В виду такого решения, предложение **Реноделя** (Франция) дополнить порядок дня пунктом о «борьбе за укрепление демократии и мира против большевизма и фашизма» было снято, однако, Бюро должно будет сохранить смысл этого предложения.

И. К. одобрил затем план технической организации Конгресса, предложенный Бюро.

С 30 июля по 2 августа предвидятся заседания подготовительных Комиссий по различным вопросам порядка дня.

От 3 по 5-ое августа будут заседать Бюро и И. К. Интернационала. 3 и 4-го состоится международная конференция женщин.

Конгресс откроется 5-го августа и будет длиться семь дней.

После утверждения программы Конгресса И. К. подверг всестороннему обсуждению доклад Комиссии по разоружению, представленный **Отто Бауэром**, заместившим отсутствовавшего председателя Комиссии **Албарда** (Голландия). В прениях по докладу, главным образом, были выдвинуты две проблемы: роль фашистских правительств в борьбе против ограничения вооружений и проблема полного разоружения. Некоторые делегаты внесли поправки к докладу, которые все были переданы в Комиссию по разоружению. На следующий день Комиссия представила И. К. окончательный текст доклада, предназначенного для Брюссельского Конгресса. Текст был принят единогласно.

В докладе указывается, что полное разоружение, являющееся конечной целью социализма, в современных условиях еще неосуществимо. Однако, уже теперь, среди самих господствующих классов, имеются влиятельные группы, поддерживающие требования сокращения вооружений. Задача Интернационала использовать это благоприятное обстоятельство. В докладе, наряду с этим, подчеркивается, что осуществление принципа о разрешении всех международных конфликтов исключительно мирными способами в огромной степени может содействовать заключению общих конвенций по разоружению.

Что же касается системы организации армий, то доклад высказывается за предоставление нациям полной свободы выбора в этом отношении и поэтому намечает ряд практических мер, соответствующих различным системам.

Доклад вместе с тем выдвигает, как основную задачу в деле сокращения вооружений, создание такого положения, при котором отдельное государство не располагало бы большими массами обученного и вооруженного войска, способными совершить нападение как только вспыхнет международный конфликт.

В докладе, помимо того, намечен также ряд мер, направленных к уменьшению опасностей для демократии, которые таит в себе всякая военная организация. Наконец, обращается особое внимание на угрозы миру, создаваемые сохранением фашистских милиций.

В специальной резолюции, предложенной **Реноделем**, И. К. предостерегает против опасностей, вытекающих из соперничества держав в области морских вооружений. В другой резолюции, предложенной

де Брукером, И. К. высказал свою точку зрения на С.-Готардский инцидент, провозгласив «необходимость немедленной организации деятельного контроля, имеющего целью положить конец тайной доставке оружия». — «Интернационал, — гласит заключительная часть этой резолюции, — разоблачает происки правительств, подавивших демократию, тем самым освободивших себя от всякого внутреннего контроля, и уже доказавших на деле свое стремление препятствовать всякой политике разоружения и мира».

Вопрос о выступлении английского консервативного правительства (на заседании Международного Бюро Труда в Женеве) вызвал серьезный обмен мнений в И. К. В прениях приняли участие делегаты ряда европейских партий.

В резолюции по этому вопросу Интернационал, в согласии с Международной Профсоюзной Федерацией (Амстердамский Интернационал), призывает партии тех стран, которые еще не ратифицировали Вашингтонскую Конвенцию, принять немедленно меры для постановки этого вопроса в своих парламентах.

И. К. специально обсуждал также, выдвинутый Секретариатом, вопрос об отношениях Социалистического Интернационала с различными группировками международного характера. После выступления несколько делегатов, высказавших точку зрения своих партий, И. К. единогласно постановил опубликовать представленные в связи с этим вопросом доклады об «**Интернационале Пролетарской Свободной Мысли**», «**Интернациональном Бюро Социал-революционных Партий**» и «**Социалистической Лиге Нового Востока**». Также единогласно И. К. решил предложить Брюссельскому Конгрессу следующее дополнение к 2-му параграфу Устава Интернационала:

«Все партии, примыкающие к Р.С.И., обязаны принимать меры к тому, чтобы деятельность их членов в области международной протекла преимущественно в рамках Р.С.И. и чтобы они воздерживались от персонального участия в интернациональных политических организациях, тенденции которых противоречат программе и тактике Р.С.И.»

В конце второго заседания И. К. де Брукер от имени Комиссии национальных меньшинств сделал интересный доклад о деятельности этой комиссии.

В его докладе особенно подчеркнуты были об'единительные стремления в чехословацком социалистическом движении, проекты Комиссии, касающиеся национальных проблем на Балканах и вопрос о позиции Украинской С.-Д. в связи с убийством Петлюры, позиции, вызвавшей резкую критику со стороны некоторых других социалистических партий. В Комиссии по этому вопросу достигнуто было соглашение между заинтересованными сторонами и принята, сообщая ими составленная, резолюция.

«В атмосфере напряженной борьбы между национальностями и их взаимного ожесточения, царящей еще в Советской Украине, в результате ужасных событий гражданской войны и погромов, — гласит эта

резюлюция, — вдвойне необходимо, чтобы национальные социалистические партии, стремящиеся представлять интересы рабочего класса в освободительной борьбе их народов, в которой они вынуждены принимать участие, сохраняли свою независимость от общего буржуазно-национального движения и старались избегать всего того, что могло бы создать в рабочих массах впечатление о солидаризации социалистов с буржуазными шовинистами и их тактикой... Чтобы бороться с успехом против национализма и реакции национальные социалистические партии в пределах Советского Союза должны вступить между собою в соглашения и тем усилить взаимное доверие и солидарность рабочих масс».

И. К., по обсуждении всех перечисленных вопросов, единогласно постановил предложить Брюссельскому Конгрессу резолюцию с требованием **полной отмены смертной казни**.

Ряд внутренних, технически-организационных вопросов, Р. С. И. был разрешен И. К. без больших дебатов.

Р. С. И. и «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИГА НОВОГО ВОСТОКА»

Приводим полностью доклад Секретариата Р. С. И. по вопросу о «Социалистической Лиге Нового Востока».

Секретариат Р. С. И. получил от «временного секретариата» «Социалистической Лиги Нового Востока», датированное Прагой, 14-го декабря, письмо следующего содержания:

«Временный Секретариат «Социалистической Лиги Нового Востока» имеет честь представить для Вашего ознакомления проект платформы Лиги и сообщение Временного Секретариата о работе, выполненной инициативной группой по составлению этой платформы. Как только организационный устав Лиги будет закончен, мы Вам немедленно его вышлем.

«Временный Секретариат, посылая Вам вышеупомянутые документы, считает своим долгом пояснить, что Лига, образовавшаяся как персональное объединение членов различных социалистических партий и группировок, ставит себе основную цель — пропаганду мирного способа разрешения национальной проблемы в Восточной Европе, где в данный момент отношения между различными нациями чрезвычайно осложнены.

«Предложенный проект платформы, продиктованный стремлением к последовательному применению принципов демократического социализма в национальной области, не рассматривается нами как непреложная истина (*comme une vérité définitive*). Это лишь первая попытка примирения социалистических группировок заинтересованных наций. В случае надобности, в проект могут быть внесены поправки и дополнения.

«Мы стремимся объединить вокруг Лиги представителей всех оттенков социалистической мысли, если возможно, всех заинтересованных наций.

«Наша платформа должна послужить лишь отправным пунктом для серьезной и дружеской дискуссии среди социалистов Восточной Европы по вопросу, который для них является наиболее спорным.

«Наша задача — не создание новой партии и не противопоставление Лиги другим международным социалистическим объединениям. Наоборот, мы рассчитываем на поддержку последних и рассматриваем себя исключительно как подготовительную комиссию, ставящую себе целью обсуждение одного из наиболее трудных и тягостных вопросов современности.

«Сообщая Вам все вышеизложенное, мы просим Вас, уважаемые товарищи, ознакомиться с прилагаемыми материалами и сообщить нам Ваше мнение по этому вопросу.

За Временный Секретариат Д-р В. Гуревич.

Оганес Акиниан».

К этому письму были приложены следующие документы:

1. **Отчет** на двенадцати переписанных на машинке страницах обо всем, что происходило на 22 заседаниях инициативного комитета Лиги за период с 25-го октября 1926 г. по 12-ое июля 1927 г. В этом отчете подробно говорится об «интригах», направленных против деятельности Лиги и о том, что в обращение были пущены «подложные протоколы» ее заседаний и «подделанные документы».

2. **Платформа** Лиги на французском языке. Эта платформа была ранее опубликована в номерах 59 и 60 «Революционной России», официальном органе Партии Социалистов-Революционеров.

Она подписана следующими лицами:

Члены партии с.-р. (Россия) В. Чернов, В. Гуревич, Гр. Шрейдер, Ф. Мансветов, Е. Шрейдер.

Члены Украинской партии с.-р. (Украина) М. Шаповал, Н. Григорьев, М. Мандрыка, С. Довгаль, Б. Залевский.

Члены Белорусской партии с.-р. (Белоруссия) Т. Гриб, В. Чернецкий.

Члены Белорусской партии социалистов-федералистов (Белоруссия) Ц. Захарко, П. Кречевский.

Члены армянской Революционной партии Дашнакцутюн (Армения) Н. Никогосьян, О. Акиниан.

В письме к Секретариату Р. С. И. «Лига» обещала прислать свой организационный устав, что, однако, не было сделано до 20-го февраля 1928 г., когда составлялся настоящий доклад.

Не имея в руках столь важного документа, Секретариат Р. С. И. счел лишним отвечать на приведенное выше письмо.

Протоколы заседаний Лиги, как и подписи, фигурирующие на ее платформе, показывают, что Инициативный Комитет пытался завязать отношения с несколькими социалистическими партиями, примыкающими к Р. С. И., и что представители этих партий принимали участие в заседаниях Лиги, а некоторые из них сыграли важную роль при ее создании и организации.

С другой стороны, некоторые из представителей партий, примыкающих к Р. С. И., вышли из этого предприятия во время переговоров, как, например, Грузинская и Украинская Социалдемократии. Русские социал-демократы, не принимавшие с самого начала никакого участия в работах «Лиги», ответили на приглашение «инициаторов» в «Социалистическом Вестнике» от 12-го января 1928 г. мотивированным заявлением, в котором они отказываются вступить в Лигу ни в качестве представителей партии или Заграничной Делегации, ни на персональных началах.

Судя по отчету, присланному Лигой, ни одна из партий, примыкающих к Р. С. И., не представлена в Лиге как партия.

Члены русской партии Социалистов Революционеров и Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» участвуют в Лиге персонально.

В официальном органе русских с.-р. «Революционная Россия» были помещены программа «Лиги» и ряд статей, посвященных ее обоснованию и защите (ном. 61, октябрь 1927 г.). В том же номере напечатано также сообщение об организации «Лиги» и ее секретариата.

В среде русских с.-р. по вопросу о «Лиге» существуют противоположные мнения.

В то время, как официальный орган партии поддерживает «Лигу», недавно созданный новый с.-р. овский орган «Социалист-Революционер», выходящий под редакцией членов З. Д. партии с.-р. Постникова, Слонима, Сталинского и Сухомлина, высказывается против участия в ней. (ном. 1, октябрь 1927 г.).

Необходимо, помимо того, отметить следующее:

В письме секретариата «Лиги» к секретариату Р. С. И. указано, что «Лига» представляет собою теперь персональное объединение членов различных социалистических партий и группировок.

Между тем, в «Революционной России» по этому поводу мы читаем:

«Организация «Лиги», основанная на персональном участии, не исключает возможности вступления в «Лигу» целых организаций и политических групп в качестве партий. Они могут в таком случае примкнуть коллективно к соответствующей секции «Лиги».

В виду такого заявления, позиция партий, входящих в состав Р. С. И., предопределяется 2-м параграфом организационного устава Р. С. И., который гласит, что «партии, примыкающие к Р. С. И., берут на себя обязательство не вступать ни в какие другие интернациональные объединения политического характера».

Вопрос мог бы ставиться иначе, если бы в организационном уставе «Социалистической Лиги Нового Востока» было указано, что участие в ней допускается только на персональных началах.

В виду того, что в уставе Р. С. И. не имеется параграфа, предусматривающего персональное участие в международных политических организациях, Р. С. И. должен предоставить компетенции самих при-

мыкающих к нему партий суждение о том, в каких пределах они намерены обеспечить соблюдение своими членами политики Рабочего Социалистического Интернационала.

*

**

Как видно из напечатанного выше отчета о заседании И. К. Интернационала в Цюрихе, по вопросу об отношениях с другими международными организациями, куда входит и вопрос о «Социалистической Лиге Нового Востока», единогласно постановлено предложить Брюссельскому Конгрессу дополнение к 2-му параграфу устава, сводящееся к запрещению и персонального участия в интернациональных объединениях, преследующих политические цели.

Объединение социалистов в Чехословакии

Луи де Брукер, один из виднейших лидеров бельгийской рабочей партии, в течение нескольких лет был посредником, по поручению Интернационала, между немецкими и чешскими с.-д. Чехословакии.

Ему приходилось улаживать конфликты, возникавшие между этими двумя партиями, на международных съездах, и участвовать на совещаниях, подготовлявших объединение обеих этих партий.

Де Брукер был делегирован Интернационалом на последний объединительный съезд.

Я только что вернулся с объединенного социалистического съезда в Праге и хочу немедленно рассказать, какое глубокое впечатление произвел он на меня.

К несчастью, Чехословакия частично унаследовала те национальные раздоры, с которыми приходилось некогда бороться Австрии. На территории республики бок-о-бок с чешской национальностью проживают и сильные национальные меньшинства. К примеру, в одной только области, называемой Подкарпатской Русью, первоначальное обучение ведется на 11 различных языках: русском, русинском, польском, венгерском, словакском, чешском, румынском, немецком, древне-еврейском, на еврейском жаргоне и по цыгански. И нам, которым известно, с какими трудностями сопряжено распределение детей между французской и фламандской школами, легче, чем кому либо, понять, насколько не легко приходится власти в Чехословакии и, что даже руководствуясь самыми благими намерениями, она неизбежно, чуть что не на каждой неделе, должна вызывать против себя недовольство хотя бы полудюжины из перечисленных национальностей.

Среди меньшинств — немецкое наиболее многочисленно, наилучше организовано, и оно то неизменно находилось в непри-

миримой оппозиции к любому чешскому кабинету вплоть до самого последнего времени. Немцам трудно было забыть, что до войны они принадлежали к господствующей нации, они с раздраженной нетерпимостью относились к господству тех, кого в течение столь продолжительного времени привыкли считать своими подданными. С другой стороны, чехи, в опьянении победой, увенчавшей их длительную, упорную и, можно сказать, героическую борьбу против господства Габсбургов, иногда, быть может, слишком явно старались проявить свою власть и дать почувствовать немцам, что времена переменялись.

Как же, при наличии таких условий, в целом ряде случаев немцы и чехи могли не видеть друг в друге врагов? Конечно, у социалистов обеих национальностей чувство крайнего национализма проявлялось значительно реже, чем среди приверженцев других партий, но я бы уклонился от истины, если бы утверждал, что они в полной мере были свободны от него.

Острые трения на почве национальных раздоров еще при прежней монархии создавали серьезные трудности для социализма. Под давлением окружающих условий пришлось даже разбить партию на национальные секции, которые объединялись, в конечном счете, только на собиравшемся от времени до времени общем съезде.

Напряженность революционной борьбы, которая велась чехами, вызвала даже разрыв сношений их организаций с другими, примерно, лет за десять до войны; последний общий съезд, в котором они принимали участие, состоялся в 1905 году.

После войны, когда создается чешская республика, чешские социал-демократы поддерживают правительство. Немецкие же борются с ним, и не потому, что они являются сторонниками отделения; наоборот, они утверждают, что желают жить в пределах данной республики, но они требуют большего уважения к своим национальным правам. Конечно, по многим вопросам программы обеих партий совпадают: они под тем же углом зрения смотрят на борьбу пролетариата. Но каждая из них, чрезмерно поглощенная своими национальными домогательствами, не желает поступиться хотя бы частью их во имя общего действия. В результате, при любой политической схватке, их можно видеть в двух враждебных лагерях, выступающими друг против друга.

Само собой разумеется, что в таких условиях страдало рабочее движение, и все возрастающее количество рабочих, покидая и немцев и чехов, присоединялось к коммунистам, которые в Чехии совершенно не подразделялись на национальные группы.

Было бы глубочайшей несправедливостью в отношении борцов обеих национальностей предположить, что ими ничего не предпринималось для борьбы с указанным злом. На протяжении

многих лет я был свидетелем их усилий в этом направлении и с огорчением наблюдал их неудачи.

Но события часто сильнее людей, и самые лучшие пожелания остаются бессильными пред лицом непосредственного напора политических страстей.

Но те же события раскрыли теперь глаза всему пролетариату и вернули солидарности рабочего класса ту силу, которую он, казалось, на время утратил.

Дело в том, что консерваторы добились того, что не удавалось социалистам. Немецкие и чешские аграрии объединились в общем стремлении повысить в своих выгодах ввозные пошлины, заставляя рабочих платить им дороже за хлеб. После этого консерваторы обеих национальностей сговорились, хотя бы частично, разрушить завоевания трудящихся в области социального обеспечения. Наследственные враги упали в объятия друг другу совсем как наши либералы и католики. И вот они объединяются, чтобы сообща проводить политику скрытого фашизма до той поры, пока обстоятельства не создадут для них благоприятных условий сделать это явно. Незначительная группа крайних националистов чехов, соответствующая у нас клике руководимой Нотомбом, делает теперь общее дело с немецкими архинационалистами.

Тогда то с глаз немецких и чешских рабочих спадает пелена. Они уподобились, по образному сравнению одного из ораторов на съезде, тому легендарному слепцу, который шел наугад, палкой нащупывая дорогу. Вдруг он открывает глаза и замечает, что он прозрел, что все то, что прежде представлялось ему во мраке, сделалось явным.

И те самые люди, которые вчера еще ожесточенно спорили между собою на животрепещущую тему, допустимо ли, чтобы в ресторанах, на курортах, меню были написаны по немецки, — сказали себе, что для рабочих все-таки существеннее охранить и свой хлеб и свое достоинство.

Могучее движение, настоящая волна, сметающая на своем пути все препятствия, способствовала тому, что комитеты обеих организаций возобновили в совершенно ином духе переговоры, до сих пор столько раз оказывавшиеся бесплодными. Как бы чудом теперь они удались и съезд был созван.

Он состоялся при участии, примерно, 500 делегатов, прибывших из всевозможных уголков страны, объединяя и почти сливая в общее целое все национальности.

Что он сделал?

Я не желаю, проявляя неизменный оптимизм, утверждать, что ныне уже устранены все препятствия на пути к соглашению. Но я определенно знаю, что предпосылки для единения уже созданы — это воля масс, которые требуют его и добьются его.

В этом смысл события, имеющего величайшее значение и для международного социализма в целом. Оно отзовется на всем политическом положении Европы.

Луи Де Брукер.

ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
СЪЕЗДА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ,
ИМЕВШЕГО МЕСТО В ПРАГЕ 28-го и 29-го ЯНВАРЯ с. г.

1.

При междунациональной власти черно-зеленой коалиции начал проводиться резко выраженный реакционный курс, направленный против демократических основ государственного устройства, свободной инициативы в работе местных самоуправлений, прогрессивной школы, социально политических интересов рабочего класса и против существующего уровня жизни всех потребляющих слоев. Ряд законодательных мероприятий подтверждает реакционный характер господствующего режима.

Этот режим отнял избирательные права у солдат, военнослужащих и жандармов, поставил граждан в худшие условия при выборах окружных и областных представительств, урезал права населения в области административного управления и усилил влияние государственной бюрократии. Под властью этого режима нарушается свобода преподавания и прилагаются старания к увеличению влияния церкви на управление и дух школы. Наряду с этим, не только не подвигаются к разрешению, но даже и не ставятся на обсуждение основные национальные и культурные проблемы, разрешение которых должно привести к сближению и соглашению населяющие страну народности, а этим самым и к укреплению общего положения. Таким образом, междунациональная буржуазная коалиция обнаружила полнейшую несостоятельность и в той области, в которой ее глашатаи, после прихода к власти кабинета, сделали столько многообещающих посулов и где они провели свой обманчивый маневр.

Законом о финансовом управлении общин было подорвано хозяйство этих самоуправляющихся единиц, в первую очередь, в области социальной, здравоохранительной и культурной деятельности. Господствующий режим ввел тягостные ввозные пошлины на аграрные продукты и этим еще более ухудшил и без того жалкий уровень жизни бедных рабочих кругов. Этот режим своей податной реформой снизил налоговые тяготы состоятельных слоев населения, не смягчив при этом ни одного из налогов на потребление и даже, наоборот, увеличил некоторые из них, чтобы покрыть повышенные государственные расходы по содержанию духовенства.

Во время господства черно-зеленой коалиции не проведено в жизнь ни одно из социально политических требований рабочего клас-

са. Напрасно социал-демократия призывает к необходимым мероприятиям в интересах тех рабочих и работниц, на которых не распространяется закон о социальном обеспечении. Тщетно прилагает он усилия, добываясь активного вмешательства государства в разрешение жилищного кризиса и облегчению нужды военных инвалидов. Даже наоборот, — правительство черно-зеленой коалиции, не взирая на протесты рабочего класса, решило существенно ухудшить закон о социальном обеспечении, закон, который и без того далеко не удовлетворял справедливых притязаний рабочих масс. Руководящая идея черно-зеленого правительства это классовая вражда всех предпринимателей без различия религии и национальности против всех трудящихся Чехословацкой республики.

Режим нынешнего правительства это неприкрытый классовый режим, направленный против рабочих.

2.

Такому положению в области политической жизни вполне соответствует положение в производстве и во всей хозяйственной жизни страны. Самовластие промышленников, аграриев, торговцев и финансистов повышено за счет влияния рабочих и служащих на процессы производства. Опираясь на свое влияние в правительстве, предприниматели отказываются повысить заработную плату рабочих и жалование служащих, не взирая на то, что мы находимся сейчас при такой производственной кон'юнктуре, какая едва ли наблюдалась когда либо в нашей республике и в Европе. Аграрный капитал при помощи сельскохозяйственных пошлин увеличил свои доходы на сотни миллионов ежегодно, оставив, однако, сельско-хозяйственных рабочих в состоянии крайней нужды при заработках и жалованьи, далеко не хватющих для достойного людей существования.

Промышленный и финансовый капитал бессовестно эксплуатирует работу своих служащих, публично хвастая при этом тем, что ему удастся удержать в свою пользу всю повышенную прибыль, не предоставив участия в благоприятной для него кон'юнктуре рабочим и служащим. Под эгидой черно-зеленого правительства широко распространяются картели, политика которых в отношении цен и заработной платы представляет серьезную угрозу для уровня жизни трудящихся. При правительстве черно-зеленой коалиции возросло самосознание буржуазии, вздорожала жизнь, при неизменившихся заработках рабочих и служащих и при посредстве так называемого регулирования окладов и систематизации, оказались обманутыми и государственные чиновники. Черно-зеленый режим это режим повышенной эксплуатации рабочих масс и всех потребителей.

3.

С'езд социал-демократических партий, тщательно проанализировал создавшееся положение и выражает свое глубокое убеждение, что самым действительным пособником реакции в государстве, точно так же, как и усиленная эксплуатация трудящихся и потребителей, является наблюдавшееся до сих пор и проводимое коммунистами раз'единение рабочего движения в Чехословацкой республике. В разобщенности рабочего движения причина слабости пролетариата и усиления буржуазии.

И если необходимо заставить умолкнуть реакцию в государстве, если нужно увеличить политическое и хозяйственное влияние рабочего класса, то во имя этого нужно прежде всего восстановить единство всего пролетариата на основе демократии и социализма. Теперь ясно, что сознательный пролетариат отклонил коммунистическое предложение «единого фронта», т. к. усмотрел в нем, как это впрочем неоднократно признавалось и самими коммунистическими вождями, — лишь партийный маневр, направленный на уничтожение других социалистических партий и, главное, на уловление новых членов. Коммунистам удалось раздробить рабочее движение, но ему не удалось и не удастся вновь объединить его, т. к. у них нет ни необходимых для этого моральных данных, ни честного желания.

Эта великая задача стоит пред социалистическими партиями Чехословацкой республики.

На территории этого государства, куда их всех привела история и где пролетариат всех национальностей тесно связан общей судьбой, как в победах, так и в поражениях, его целью является превращение данного государства в социалистическое. Он в братском сотрудничестве и теснейшем единении примет на себя осуществление этой задачи и приведет к ее победному разрешению .

Представленные на с'езде партии обязуются содействовать ему в этом всеми своими силами. Самый с'езд является лишь первым шагом. Словакии всех социал-демократических партий, входящих в рабочий Следующим должна быть тесно связанная совместная работа в Чехо-Интернационал. Мы отдаем себе отчет во всех трудностях на пути к осуществлению намеченной задачи, нам известны все препятствия, которые должны быть преодолены, но мы сознаем и безусловную необходимость объединения, от которого зависит успех социал-демократической борьбы и социалистической работы в этом государстве.

С'езд постановляет избрать подготовительное бюро из представителей всех социалистических партий, которому он поручает выполнить все программные и организационные работы, относящиеся к хозяйственным, культурным и национальным вопросам и необходимые для успешного завершения стремления к объединению.

4.

Съезд объявляет безотлагательной задачей вытекающую из существующей ситуации непримиримую борьбу с теперешним правительством. При этом он самым решительным образом протестует против обвинений националистов в том, что эта борьба направлена против самой республики. Устранение междунационального капиталистического правительства — жизненная необходимость для пролетариата. Но оно также необходимо и для самого государства, т. к. большинство населения его принадлежит к рабочему классу и не может поэтому в течение долгого времени переносить реакционно капиталистическую систему, без риска быть серьезно поколебленным в самых своих основах.

На сокрушение этого, враждебного народу и культуре, режима должны поэтому быть сосредоточены все активные силы пролетариата.

Уже и сейчас прочность междунационального буржуазного блока поколеблено. Это доказали последние общинные выборы, на которых правительственный блок понес существенный урон.

Выборы в окружные и областные представительства, немедленного назначения которых мы требуем со всей решительностью, приносят этому дальнейшее подтверждение.

Социал-демократические партии приложат все усилия к тому, чтобы увеличить влияние и силу рабочего класса в государстве, придать им ясно выраженные очертания; добиться действительного соглашения между отдельными народностями страны и образовать из этого государства, являющегося по признаку большинства его населения пролетарским, — республику справедливости не только в политическом и хозяйственном отношениях, но и в области национальной и культурной.

Социалистические партии включают в ряды организованного пролетариата и рабочие массы, еще находящиеся под влиянием буржуазии, а также введенные в заблуждение или впавшие в инертность под влиянием большевицких идей и лозунгов; они будут стремиться внушить этим рабочим правильную оценку положения и привить им классовое сознание в духе интернационализма, чтобы с их поддержкой предпринять решительную борьбу за власть в государстве.

Среди книг и журналов

Обзор журналов

«НОВЫЙ МИР» № 2. — «НОВЫЙ ЛЕФ» № 2.

После долгого молчания **И. Бабель** выступает с новым произведением: в февральской книжке «Нового Мира» напечатана его пьеса «Закат», одновременно вышедшая в изд. «Круг» отдельной книжкой с потрясающими опечатками.

В «Закате» — среда и люди, знакомые уже нам по «Одесским рассказам» Бабеля. Это все та же семья молдаванского «биндюжника» Менделя Крика, с его сыном Беней, налетчиком и «королем», с перезрелой девицей Двойрой, с верным кучером Никифором. Снова выведены жанровые типы одесского дна, базарные торговки, хитрые подрядчики, сплетницы с неистовыми глазами, синагогальные служки и юродствующие престарелые раввины. А в центре этого пестрого, нелепого, порою страшного мира, — буйный и грубый Мендель Крик, самодур и деспот, на старости лет влюбляющийся в двадцатилетнюю девушку. Но когда в угоду запоздалой страсти хочет он продать свое извозное заведение, сыновья, которых держал он в страхе и повиновении тяжелыми своими кулаками, избивают его до полусмерти. Они превращают его в полукалеку, свергают его власть, и главой семьи, хозяином и повелителем становится Бенья Крик. Свое вступление во владение ознаменовывает он праздником в честь отца, который едва может двигаться после диких сыновьих истязаний, и сидит среди гостей с иссеченным, запудренным лицом. А старый хихикающий раввин Бен-Зхарья обращается к присутствующим с речью: «день есть день, еврей, и вечер есть вечер. Иисус Навин, остановивший солнце, был всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот, Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городских на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Горо-

довые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки».

Этот порядок — закон непреложный, правило человеческой игры. Напрасно Мендель Крик, надеясь на силу злых своих рук, на горячую кровь, на щедрую природу, в шестьдесят два года мечтал о бессарабских садах и молодых девушках. И восхищенный друг его, кузнец Пятирубель, напрасно бился об заклад, что старик одолеет съювей и что «еще тыща верст до вечера». Беспощадный закат разом оглушил Менделя Крика, подобно той рукоятке револьвера, которой сын ударил его по голове.

В «Закате» опять, как и в прежних произведениях Бабеля, обнажены **простые страсти**, тот основной их механизм, который и управляет человеческим естеством. Мы снова в мире примитивных ощущений и эпически мощных героев, над которыми властвует насилие, физическое превосходство, страх убийства и душная похоть. И опять таки, у этих героев есть и некий ущерб, уклон в патологию. Мендель Крик кутит в трактире, под песни слепцов, не как одесский биндюжник, а как член семьи Карамазовых. Шутки и шуточки Бени Крика полны недоброй угрозы и какого то кладбищенского веселья. Впрочем, это его «маска» и автор сознательно расписывает ее этими красками.

Излюбленные бабелевские приемы — гротеск наряду с натуралистическим изображением, комико-трагические второстепенные персонажи, игра на контрастах, смещение различных речевых систем, чисто словесные эффекты, характеристика действующих лиц при помощи жаргона или неправильного языка — все это оказалось очень удачно использовано в драматическом произведении. Именно то, что составляет основные элементы бабелевского творчества, отличает и всякую романтическую драму. «Закат», конечно, таковой и является.

Трудно судить о сценичности произведения, не увидав его на подмостках, но мне кажется, что «Закат» очень сценичен. Давно уже не приходилось читать столь хорошо и сильно построенной пьесы, с такими резкими и выпуклыми обрисовками персонажей, с такой захватывающей сосредоточенностью действия. Как и в повеллах, в «Закате» привлекает мастерство: отделанность деталей, уверенность рисунка, четкость слога, удивительное умение сохранять отличия разных «жаргонов»: с в о и м языком говорят у Бабеля евреи, мужики, базарные торговки и кучера.

Есть в пьесе сцены, которые показались мне неудачными, напр., сцена в синагоге, где кантор во время богослужения стреляет в крыс, а Бенья Крик узнает о желании отца продать свое заведение. Есть в ней некоторая надуманность, которая проскальзывает и в «карамазовской», «надрубной» сцене кутежа.

Между прочим, за сцену в синагоге Бабеля, вероятно, будут обвинять в богохульстве, а за всю пьесу — в антисемитизме, — чего, мол, изобразил евреев чуть ли не зверями. Но эти упреки «по поводу», конечно, «политика» и никакого непосредственного отношения к

пьесе не имеет. И хотя в Москве споры о ней идут именно в этой плоскости, нам они представляются попросту бессмысленными. Важно одно: Бабель выступил, как драматург. Удачна или нет его попытка? Хорошую или дурную вещь написал автор «Конармии»?

Я думаю, что попытка удачна, и что «Закат» — интересная и хорошая пьеса.

*

**

Кроме «Заката» Бабеля, ничто не останавливает на себе внимание в февральской книжке «Нового Мира». П. Романов продолжает свой тягучий рассказ о супружеских невзгодах коммуниста Сергея, которому жить не дает своей взыскательной, идеалистической любовью «культурная мещанка» Людмила. Ал. Толстой заставляет героев «Хождения по мукам» впутаться в белогвардейский заговор, описанный по всем правилам советской сыскной науки. Повесть Д. Крутикова «Кудеяров Вир» — мужички, лесные сказки, немножко природы, немножко политики, — одно из тех многочисленных произведений «второго сорта», какие в изобилии печатаются ныне в журналах и альманахах. Их авторы полагают, что рассказ о виденном и есть художественное произведение, и добросовестность нередко принимают за художественность. Очень хорош набросок Пильняка «Мальчик из Тралл» — об Элладе и Малой Азии.

Среди статей надо выделить «Заметки о Пушкине» В. Вересаева: попытка толкования «Пророка» и пушкинского понимания поэзии и спорное, но любопытное предложение считать «Памятник» пародийным произведением. По мнению Вересаева, в «Памятнике» Пушкин пародировал пышную оду Державина — и только последняя строфа выражает истинные взгляды Пушкина: «хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».

Из статьи «бывшего» эсера Н. Святицкого о «5 января 1918 г.», узнаем, что он в скором времени обрадует нас книгой «Воспоминания эсера». Если она будет выдержана в том же тоне, что и напечатанная ныне в «Новом Мире» статья об Учредительном Собрании, то вряд ли она послужит к чести автора. О заседании пятого января Святицкий рассказывает, выражая явное раскаяние в социалистических своих прегрешениях и восхищение перед большевицкой истиной. Эсеры, конечно, изображаются в самых непривлекательных чертах, даже по адресу всеми уважаемого престарелого Е. Е. Лазарева позволил себе Святицкий совершенно неприличную выходку. В своем рвении опорочить все «эсеровское» Святицкий доходит даже до того, что ругательски ругает то, чего не было. Так, напр., по его словам, речь Руднева была «вяла, бледна, неопределенна». Участникам заседания пятого января трудно было бы проверить правильность критической оценки Святицкого по одной простой причине: Руднев никакой речи на заседании Учредительного Собрания не произносил.

*
**

Уже несколько лет в России выходит «Новый Леф», журнал левого фронта искусства, под редакцией Маяковского. В нем окопались эпигоны футуризма, того самого, который в 1920 году занял «командные высоты» в литературе и был возведен в звание правительственного генерала от искусства, а затем, после ряда неудач и провалов, за негодностью, разжалован и лишен чинов и орденов. Да и пенсия, судя по тощему журнальчику, назначена недолгому большевицкому баловню, отнюдь не генеральская.

«Новый Леф» упорно долбит свое: о замене искусства производством, о замещении творчества созданием «вещи», и с пеной у рта нападает на «попутчиков» и прочих контр-революционеров. Конечно, он только самому себе выдает патент на истинную революционность.

В прошлом году редакция журнала писала, что «положение культуры в области искусства за последние годы дошло до полного болота». Оказывается, что одной из причин, почему «положение дошло до болота» является Нэп, а лозунги эпизма и большого полотна ведут почему то «к фактическому аннулированию классовой роли искусства».

Борясь за «коммунистическую культуру», Леф энергично ругает Европу, которая «смердит покоем». Один из его сотрудников, художник Родченко, написал даже целый дневник о Париже, в котором весьма своеобразно сформулировал свое отталкивание от Запада. — «Стал совсем западником: кожу чистым, каждый день бреюсь, все время моюсь, здесь совсем по другому приходится жить». Не зная ни звука по французски, он сумел, однако, поделиться с читателями Лефа не только интересными открытиями о Париже («чаю абсолютно нигде не видно, как и папирос»), но и обобщающими суждениями о Западе: «снять технику с него, и он останется паршивой кучей навоза, беспомощный и хилый».

В таком же, приблизительно, стиле, что и писания Родченко, выдержан весь журнал. В каждой его статье всегда имеется две строго разграниченные части: часть первая — ругань и разнос «иноверных», часть вторая — восхваление Лефа.

Маяковский, считающий, как известно, скромность смертным грехом, так написал о заслугах Лефа: «одни мы, как ни хвалите халтуры, годы на спины грузя, тащим историю литературы». Мы — это Леф...

В следующей строфе Маяковский гордо заявляет: «лишь мы и наши друзья, мы не ласкаем ни глаза, ни слуха». Это сушая правда. Ни слуга, ни воображения, ни ума Леф не ласкает и не радует. У левовцев — творческая пустота и бессилие. Недаром стараются они замаскировать ее рекламой, самолюбованием, десятком пошлых анекдотиков и взаимной похвалой. Изю всех сил пыжится Леф сказать некое новое слово, но у него ничего не выходит, кроме выкриков и

дутых откровений. Жаль, что несколько талантливых людей, вроде Шкловского, из любви к озорству и позе, присоединились к лефовской группе. Правильно написал Вяч. Полонский в одной из полемических статей против Лефа: «леф — это блеф».

Сейчас, в связи с разными политическими поворотами, коммунистическое начальство предпринимает новый нажим на литературу. И лефовцы, приободрившись, пуше прежнего начинают «напирать» и «разносить».

В каждом номере «Нового Лефа» — какое нибудь откровение. В февральском — бриковское. Брик подвизается в журнале в качестве теоретика. В числе двух-трех идей, которые Леф возвещает, имеется мысль об уничтожении литературы и замене ее газетным фельетоном или корреспонденцией. Ее то и развивает Брик в статейке: «Против творческой личности». Он возмущен, что критики (Воронские и Полонские) говорят о «творческой индивидуальности» художника, т. е. считают важными и ценными те **индивидуальные** качества данного художника, которые определяют и своеобразно окрашивают его передачу действительности.

По мнению лефовского мудреца такой взгляд явно «буржуазен». Долой творческую индивидуальность! Предрассудок — будто уничтожение «суммы индивидуальных особенностей и своеобразия» уничтожает и художника. Литература должна быть не художественной, а деловой, газетно-журнальной. И необходимо не развертывание индивидуальности; надо писать то, что важно и нужно читателю, творить общекультурную работу класса.

А так как даже Вапп (Всероссийская Ассоциация Пролетарских Писателей) не пожелала принять этой точки зрения, и заговорила о необходимости бережно относиться к творческой личности писателя, то Леф заявляет: «мы берем под особый обстрел эти новые Вапповские веяния, разоблачая их буржуазность, их индивидуалистичность».

Ничего удивительного в лефовской чепухе нет. Это не только проявление ненависти бездарного писаки к яркому таланту. Это не только жажда сшибить все головы, возвышающиеся над низкорослой толпой. Это естественный вывод из тех самых «классовых» теорий, которые господствуют в искривленных умах фанатических коммунистов и которыми ловко пользуются всякие искренние или лицемерные прихвостни.

Не стоило бы обращать внимания на дешевые парадоксы Лефа, если бы левые лозунги искусства и литературные угрозы некоторых его реформаторов не связывались странным образом в нашем сознании с фигурами агентов ГПУ. Одно дело — критика, за которой не следует ни тюрьма, ни ссылка. Но каково приходится тем, кто знает, что из обвинений в «художественной буржуазности» вытекает привлечение к ответственности за политическую контр-революционность? Бедная русская литература, бедные русские писатели, если им суждено считаться даже с лефовцами и напостовцами! **М. Сл.**

О Т З Ы В Ы О К Н И Г А Х

Н. ТИХОНОВ. Красные на Араксе — Дорога — Лицом к лицу. Государственное издательство 1927 г. 80 стр.

Первые две книжки Н. Тихонова «Орда» и «Брага» создали ему — и вполне заслужено — крупное имя. Правда не все в них было благополучно: среди очень удачных стихотворений часто попадались и довольно слабые. Однако, этих удачных стихотворений («Баллада о синем пакете», «Гвозди», «Дезертир») было достаточно для того, чтобы создать ему, вместе с именем целую школу подражателей.

Последняя книжка Тихонова — его поэмы — совсем не похожа на его первые стихи и, даже больше, она не похожа на самого Тихонова. Пока длился пафос гражданской войны — Тихонов находил и свои слова и свои темы. Теперь же он растерял и то другое — остался почти что один Пастернак. Уже и прежде в некоторых его стихотворениях слышался глухой Пастернаковский голос и нет удивительного в том, что неравная борьба Пастернака и Тихонова кончилась победой первого.

Влияние Пастернака сказалось не только в чисто формальных особенностях тихоновских поэм

(в «смещении планов», в построении образов и т. д.), но, и это самое главное и самое опасное для Тихонова, в сущности его поэзии — в ритме его. В лучшей из напечатанных трех поэм, в «Лицом к лицу» мы находим такие строки:

Шел мокрый снег, мотало
Деревья, газетные клочья,
Мосты разводили — мало-по-малу

Город вручался ночи.

.....

Здесь я ломаю топот строк
Через порог пустив сюжет.

Трудно даже сказать, какое именно стихотворение Пастернака напоминают эти строки — здесь есть отголоски и «Тем и варящий» и «Лейтенанта Шмидта» и даже «Сестры моей жизни».

Само по себе это влияние Пастернака чрезвычайно характерно для переживаемой нами эпохи. Пастернаку подражают почти так же много, как лет 5-10 тому назад подражали Блоку. Это, конечно, только лишний раз напоминает нам о том, какое крупное место занимает Пастернак в современной русской поэзии.

Однако, не смотря на всю очевидность и огромность этого влияния, иногда у Тихонова проры-

вается и свой собственный голос, свое собственное «я»:

Вниманье, князь, — на родине,
Где моря зыбь глухая,
Шалаш такой же, в роде
Последнего сарая.
К нему вот на пустырь,
Прорезанный прибоя бритвой,
Пришел гостить, не то, что ты,
Хозяин битвы — перед битвой.
Строитель дома для вселенной
Пришел, как равный к шалашу,
А твой мирок, владыка пены,
Я только в случай заносу.

Этот отрывок из поэмы «Дорога» (если не считать последнюю строку) вполне самостоятелен. К сожалению такие прорывы собственного голоса у Тихонова чрезвычайно редки. По ним невозможно еще составить себе ясное представление о новом «лице» Тихонова. О новом, потому что все же можно сказать с уверенностью, что Тихонов будущих книг, если, конечно, он преодолет в себе Пастернака, будет иметь мало общего с Тихоновым «Баллады о синем пакете» и «Дезертира».

А. Леонидов.

Артем Веселый. Дикое сердце.
Изд. Федерации Об'единений Советских Писателей «10 лет октября». Москва. 1927.

Артем Веселый внес в русскую литературу очень своеобразный и интересный прием. Он отказался от изображения личностей, от психологических переживаний героев, даже от сюжета с его завязкой и развязкой, порвал с традицией прошлого большого искусства, остался с одним голым «коллективом», с толпой революцион-

ных солдат, матросов, партизан, — и сумел в этой пустыне создать несколько значительных вещей. Но, с течением времени, в самом процессе творчества, Артем Веселый почувствовал опасность повторений (ибо толпа чаще всего однообразна в своих проявлениях и разнообразна только индивидуальности) и обратился за поисками героя. Пока же — в этих поисках — он облюбовал себе одного героя, которого стал воплощать во многих лицах, разнообразя их небольшими индивидуальными чертами. Это человек, рожденный и воспитанный революцией, крепкий, стальной, готовый каждую минуту умереть или лишиться другого жизни (будь то даже лучший друг или любимая женщина), — одним словом, это один из тех, которым посвящал свои баллады Н. Тихонов.

Гвозди б делать из этих
людей, —
Не было б в мире крепче
гвоздей!

«Дикое сердце» А. Веселого — очень сильный и жестокий рассказ. После И. Бабеля и Вс. Иванова, нас трудно удивить чем-нибудь жестоким и беспощадным. Но «Дикое сердце» все же поражает. Тяжелый, бесчеловечный, казалось бы, рассказ. Но чем бесчеловечнее поступки людей, тем сильнее человеческие страсти, тем выше и яснее человеческая боль. (Может быть, здесь многое отчисляется автору за счет «человечного» читателя?).

Рассказ написан, как всегда у Веселого (тут он соприкасается с Б. Пильняком), отрывочно, ха-

отично: мысли и слова не вытекают одни из других, а врываются откуда-то и идут на встречу ворвавшимся, новым. Эта разорванность стиля передает волнение и отрывистое дыхание автора.

Правда, стремление изобразить красочно шум и голоса, передать звуки человеческих восклицаний, для которых нет в азбуке букв, приводит иногда А. Веселого к таким, например, фразам:

«... бра, зна? .. Ууу, щц ... Черно... Пух-пух, та-та-та-та-та... Ммм... Обшад, гирцева-нова, бам-бам... Зззз... Иииии... Кххх... Талалы-лалалы *Ку-гу...».

— но прекрасное знание русских областных наречий, поговорок и народных песен искупает эти отдельные неудачи языка.

Очень характерно, что рассказ, начатый хаотично и смутно, постепенно, к концу, — когда автору уже не до стилистических, если хотите, манерностей, — проясняется и становится совершенно ясным. «Дикое поле» у А. Веселого с сюжетом и, если все же без завязки, то, во всяком случае, с развязкой и, при этом, даже драматической (мелодраматической?).

Героиня рассказа — Фенька. Вместе с человеком, которого она любит, с Илькой, она ведет подпольную, террористическую борьбу с существующей властью. После долгой и смелой борьбы они оба оказываются в камере смертников. После жестоких допросов, окровавленные, но нико-го не выдавшие, — они снова вместе. Через час друзья-парти-

заны, налетом на тюрьму, освободят смертников. Но вот в камеру вваливаются стражники.

«Офицер простуженно кашляет: — Предупреждаю, молодой человек, за неисполнение законных требований я отдам вашу девушку взводу моих солдат.

Илько молчит.

— Ну?.. Я надеюсь, вы будете благоразумны?..

Фенька сказала глухо, ровно издалека:

— Илько, не смей.

Но, когда стражники бросаются на Феньку, сердце Илько не выдерживает: «партизанская кровь замитинговала в Илько. — Стой! ваше благородие, скажу... — Молчи! — отчаянно крикнула Фенька... — Ваше благородие... Все скажу, я, я... Не соберет Илько мыслей, шатается Илько и видит вдруг: обняла Фенька стражника за шею крепко-накрепко, а другой рукой за зеленый шнур, за кобур, за наган и — первую пулю в него, в Илько: Бах...».

Через пять минут тюрьму освобождают и Фенька на свободе. Когда начальник партизан — «размашистый и радостный Александр спросил об Илько: — Куда подевался, не видно парня? — Фенька вскинула сползавший с плеча карабин и ответила: — Загнулся наш Илько... Сердце у него подтаяло.

В огне броду нет».

Так кончается «Дикое сердце». Но это только один из эпизодов жизни этих жестоких, «диких сердец». Неблагодарная (и не стоящая благодарности) вещь пересказывать содержание расска-

сказов А. Веселого, поэтому мы и ограничились передачей только одного эпизода, в которой мы предоставляли больше говорить самому автору.

Есть в «Диком сердце» одно место, одно лирическое отступление, в которое Артем Веселый контрабандным путем вложил всю свою (и нашу) ненависть ко всякому насилию человека над человеком. Будущий свободный историк оценит смелость этих слов А. Веселого:

«О, тюрьма — корабль человеческого горя — неполебимая, как тупость, ты плывешь из века в век, до бортов груженная кислым мясом и человеческой кровью... Крепость тиранов, твердыня земных владык, не нонче — завтра мы придем, мы кувыркнем тебя, раздергаем тебя по кирпичу и на твоих смрадных развалинах будем петь, будем плясать и славить солнце».

Б. С.

А. ПАНАЕВА. Семейство Тальниковых. «Академия» Ленинград, 1928.

Из-во «Академия» предприняло целую серию книг под названием «Памятники литературного быта». В дополнение к вышедшим уже воспоминаниям А. Панаевой (см. рецензию в В. Р.» за 1927 г.) и И. Панаева, теперь появляется роман А. Панаевой «Семейство Тальниковых».

Это история детства автора, не лишенное таланта и силы повествование об удушливом быте дореформенной России. Недаром современники ставили этот роман,

запрещенный николаевской цензурой за «безнравственность и подрыв родительской власти», наряду с «Сорокой-Воровкой» Герцена. В ней не только изображена, но и опозорена вся система воспитания крепостнической России, и до сих пор эта реалистически-обличительная вещь сохраняет исторический интерес.

Значение книги увеличивает личность ее автора. К. Чуковский в очень интересном и обширном очерке, «Панаева и Некрасов», занимающем почти половину книги, дает яркую характеристику подруги поэта. Но «воображаемый портрет», этой женщины, слывшей смолоду одной из самых красивых женщин Петербурга, и бывшей в дружбе с Белинским и Добролюбовым, Достоевским и Герценом, страдает основным противоречием.

К. Чуковский задался целью очистить Панаеву от обвинения в том, что она присвоила деньги, вырученные от продажи имения Огарева, принадлежавшие ему и предназначенные его первой жене. Доказать невинность Панаевой ему не удалось, а между тем, в процессе защиты, он так упростил ее образ, сделал эту сверстницу наших великих писателей, такой простой, почти ничтожной женщиной, что невольно возникает вопрос: если Панаева была только способна разливать чай, быть радушной хозяйкой и мечтать о детях, как сумела она написать такие яркие воспоминания и такой выдающийся роман, как «Семейство Тальниковых»?

М. Сл.

Dr Eduard Benes. «Světova vauka a nase revoluce». 2 тома. Издательство «Orbis». 1927 г. Прага.

Большой интерес возбуждают недавно вышедшие из печати мемуары доктора Эдуарда Бенеша, министра иностранных дел Чехословацкой Республики, одного из вождей заграничного чешского освободительного движения. Мемуары эти, озаглавленные «Мировая война и наша революция», охватывая период 1914-1919 г., содержат в себе много любопытных суждений о России, русской революции, ряд характеристик и оценок государственных и общественных деятелей царского и революционного времени. Эти два объемистых тома воспоминаний интересны не только самой незаурядной личностью их автора, но, в равной мере, и новизной некоторых сообщаемых данных о исторических событиях недавнего прошлого, неожиданными и остроумными суждениями и последовательным философским освещением, покоящимся на строго законченном миросозерцании и целостной идеологии.

Правда, некоторые философские концепции доктора Бенеша не кажутся нам абсолютно исчерпывающими: так автор объясняет исторический смысл великой войны, как борьбу демократического и анти-демократического начала, причем второе, даже когда оно было на стороне союзников (Россия), оказывается побежденным, а первое — победителем, несмотря на то, что иногда оно пребывало и в лагере центральных держав (чехи, словаки, хорваты).

Это построение, собственно говоря, исчерпывающе объясняет только внутренний смысл последствий мировой войны, но в нем не заключено объяснений ни идейных причин, вызвавших эту войну, ни точной формулировки ее целей. Надо отметить и то, что автор почти совершенно игнорирует роль и значение экономических моментов, хотя все-таки некоторое наличие их он отрицает; безусловно отрицательно относится д-р Бенеш только к формуле «война велась капиталистами из-за господства на мировом рынке». Нам все-же кажется, что эти экономические моменты (в особенности борьба вокруг линии Берлин — Багдад) несколько недооценены д-ром Бенешем. Автор, конечно, отрицает и наивную теорию о великой войне, как о борьбе славянского и германского мира, — в этом отрицании он безусловно прав. Но надо отметить, что в идеологии воюющих народов, — не столько у правительств, сколько у самого общества, — был уклон и в сторону этого понимания, — потому то, при более широкой постановке вопроса, нам казалось бы правильным, говорить о множестве причин и идейных и бытовых факторов, объясняющих смысл мировой войны. При сужении же вопроса до рамок оценки только «последствий» войны, — прав, конечно, окажется доктор Бенеш и справедливость его выводов подчеркивает очевидный и непосредственный результат войны: широкое распространение

демократии, наблюдающееся повсюду в средней Европе.

Доктор Бенеш вполне беспристрастен в признании за Россией ее военных заслуг как в достижении общей победы, так и в деле освобождения Чехословакии. Русские цели войны он определяет так: «из всех проявлений, доказательств и симптомов, которые мы имеем о русской политике, поскольку она обрисовалась за время войны, видно, что политически на первом месте для России был вопрос о том, что она получит из турецкого наследства, проблема Константинополя, русское влияние в Средиземном море и закавказские вопросы; на втором месте был вопрос восточной Галиции и вопрос польский (польские Галич и Познань), затем вопрос югославянский... Дела чехословацкие были вначале для России в сильной степени теоретическими, а когда вырисовались в конкретном форме, то, само собой понятно, стояли на последнем месте (стр. 293-294 первого тома).

Чешское дело в России в значительной мере тормозилось разногласиями между «русскими чехами» и военнопленными, подчинявшимися авторитету проф. Масарика из за-граничной «Народной Рады». Разногласия между киевской и петроградской группами, борьба Дуриха со Штефаником, все эти споры, будучи доводимы до сведения русского командова-

ния, неизбежно замедляли дело формирования новых чешских отрядов. Много мешала и политическая неопытность самих организаций русских чехов, пред'являвших ряд немыслимых с юридической точки зрения требований; так, например, доктор Бенеш сам приводит резолюцию русского министерства иностранных дел, положенную на меморандум Вондрака: «... предварительное признание будущей самостоятельности, о котором говорит меморандум и иные его политические предложения, так не серьезны, что едва ли заслуживают того, чтобы о них говорилось подробно». (стр. 301, т. 1-ый).

Особенно высоко оценивает д-р Бенеш моральную помощь, оказанную чешск. освободительному движению русской революцией, провозгласившей принцип признания прав малых национальностей.

Много интересного и нового пишет доктор Бенеш о возникновении белого движения в Сибири, о роли чешских войск и об отношении к Колчаку союзников. В короткой рецензии нельзя исчерпать даже только того материала, который относится специально к России. Было бы очень желательно, чтобы какое-либо издательство выпустило хотя бы и сокращенный русский перевод этой интересной и ценной книги.

В. В.

Поправка: В предыдущем № «В. Р.» в «Обзоре журналов» на стр. 119 вместо «стихотворения Г. Струве» следует читать «стихотворения М. Струве».



**РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ**
J. POUVOLOZKY & C^{IE} 13, RUE BONAPARTE PARIS VI^e
ВСѢ РУССКІЯ И ФРАНЦУЗСКІЯ КНИГИ
ОТКРЫТО БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА СЪ 9У ДО 7ВЕЧ.

Tél.: Fleurus 42-01

Chèques postaux : Paris 195-33

R. C. Seine 212-183 B.

Фирма основана в 1910 г.

.....

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

журнала

„ВОЛЯ РОССИИ“

Для ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ
и ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

.....

собственные издания на Русском и Французском языках. Все зарубеж-
ные издания. Все Книги Советской России. Детские книги. Учебники
словари и самоучители иностранных языков. Ежемесячные бюллетени
всех французских изданий. Каталоги высылаются бесплатно.

— А Н Т И К В А Р И А Т —

**ВСЕ КНИГИ ПО ИСКУССТВУ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ.**

.....

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

J. POUVOLOZKY & C^{IE}

EDITEURS

13, rue Bonaparte, PARIS (VI^e)

Открыта подписка на 1928 г.

(7-ой год издания) :- :- :- :- (7-ой год издания)

на большую ежедневную газету

“ДНИ”

выходящую в Париже под редакцией А. Ф. КЕРЕНСКОГО при ближайшем участии видных политических деятелей. ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИИ Постоянные сведения о политических настроениях жизни :-: :-: и условиях труда эмиграции. :-: :-: :-: ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ :-: :-: :-: под редакцией М. А. ОСОРГИНА :-: :-:

В 1928 ГОДУ

Всем подписчикам и постоянным читателям, газета пре- :-: доставляет в виде премий следующие льготы :-:

1. Все подписчики «ДНЕЙ» имеют право на получение журнала

“СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ”

ЗА 10 ФРАНКОВ КНИГА (вместо 25 франков) во Франции

2. Все читатели «ДНЕЙ» имеют право на получение большого ежемесячного журнала

“ВОЛЯ РОССИИ” ЗА 5 ФРАНКОВ КНИГА ВО ФРАНЦИИ

ЗА 6 ФРАНКОВ КНИГА ЗА-ГРАНИЦЕЙ (вместо 12 и 15 франков)

Чтобы воспользоваться этой льготой достаточно вырезать из газеты «ДНИ» ЧЕТЫРЕ КУПОНА ЗА № 1, 2, 3, 4 их прислать вместе со стоимостью книги журнала в контору газ. «ДНИ» Эти купоны будут печататься в газете на 3-ей странице.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ «ДНИ»

(1-го и 16-го каждого месяца)

	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год
Во Франции	13 фр.	36 фр.	65 фр.	125 фр.
За границей	23 фр.	64 фр.	120 фр.	230 фр.

ДЛЯ РАБОЧИХ И СТУДЕНТОВ ДОПУСКАЕТСЯ ЛЬГОТ- НАЯ ПОДПИСКА — 8 франков В МЕСЯЦ ВО ФРАНЦИИ

Перемена адреса — 1 франк

Адрес редакции и конторы:

9-bis, rue Vineuse Paris (XVI). — Tél. : Passy 89-61.

Le gérant: I ROSSEL-CHIOT



Imprimerie de la Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves
32, rue de Ménilmontant, Paris XX^e